



МАРК УРАЛЬСКИЙ
ГЕНРИЕТТА МОНДРИ

Достоевский и евреи

Марк Уральский

Достоевский и евреи

«Алетейя»

2021

УДК 821.161.1 Достоевский.06+929
ББК 83.3(2Рос=Рус)1-8 Достоевский Ф.М.

Уральский М. Л.

Достоевский и евреи / М. Л. Уральский — «Алетейя», 2021

ISBN 978-5-00165-252-6

Настоящая книга, написанная писателем-документалистом Марком Уральским (Глава I—VIII) в соавторстве с ученым-филологом, профессором новозеландского университета Кентерберри Генриеттой Мондри (Глава IX—XI), посвящена одной из самых сложных в силу своей тенденциозности тем научного достоевсковедения - отношению Федора Достоевского к «еврейскому вопросу» в России и еврейскому народу в целом. В ней на основе большого корпуса документальных материалов исследованы исторические предпосылки возникновения темы «Достоевский и евреи» и дан всесторонний анализ многолетней научно-публицистической дискуссии по этому вопросу. В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

УДК 821.161.1 Достоевский.06+929
ББК 83.3(2Рос=Рус)1-8 Достоевский Ф.М.

ISBN 978-5-00165-252-6

© Уральский М. Л., 2021
© Алетейя, 2021

Содержание

Предисловие	6
Вступление	18
Глава I	20
Конец ознакомительного фрагмента.	72

Марк Уральский, Генриетта Мондри Достоевский и евреи

К 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского

© М. Л. Уральский, Г. Мондри, 2021

© С. Алоэ, Л. Сальмой, предисловие, 2021

© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2021

Предисловие

От табуирования к парадоксальности

В любой науке, тем более гуманитарной, «недосказанность» порождает искажения и очень часто становится почвой для опасных легенд и значимых лакун, мешающих адекватному и полноценному подходу к изучаемым вопросам. При любых (сознательных или неосознанных, добросовестных или тенденциозных) стараниях пренебрегать некоторыми данными/темами или отводить от них взгляд, недосказанность насыщает тень на научное исследование. А тень, со временем, может легко превратиться в «темное пятно». Пятно образовывается тогда, когда продолжительная недосказанность принимает характер запрета, «табу».

Борьба против наследия культурного и идеологического запрета требует, с одной стороны, смелости и навыков, а с другой – особенно осторожного и тщательного анализа проблем, связанных с находящимися в тени сюжетами или предметами. Запрет, одним словом, находится на основе несостоявшейся, «заглушенной» дискуссии. К «просветительному» действию против запрета исследователю следует всегда подходить наподобие реставратора, внимательно наблюдающего тусклые наслоения, наложившиеся на «фресковую роспись», для того, чтобы восстановить ее подлинный вид и вернуть его к достоверному историческому контексту.

Борьба с запретными темами представляется еще сложнее в том случае, если они касаются общепризнанных, представительных и «глубокоуважаемых» личностей отечественной культуры. Именно в таких случаях можно ожидать вмешательство некоего инстинкта защиты со стороны соратников «чистоты» своих идолов, ставших символами той или иной национальной «истины». Характерным в этом плане является табу, касающееся отношения Федора Михайловича Достоевского к еврейскому вопросу.

Достоевского знают, читают и почитают во всем мире. Так было полтора века независимо от смены эпох и культур. С появлением на свете его первой повести, писатель оставался неизменно предметом исследований, доходящих порой до самых тонких деталей и нюансов. К тому же Достоевский к концу своей жизни и деятельности уже занял на родине позицию ориентира «русской мысли» и был присвоен себе самыми разнородными идейными и идеологическими направлениями. Не последнюю роль в этом сыграла его публицистика, в особенности «Дневник писателя», в котором писатель непосредственно касался (как бы неохотно) еврейского вопроса и где, как и в «Пушкинской речи», открыто говорил о пресловутой «арийской расе».¹

Достоевского привлекала и к нему подходила роль «властителя дум» в историческом контексте, в котором готовились эпохальные политические и культурные перемены. Он не просто это чувствовал, он это по-своему «знал», пытаясь раскрывать сильные противоречия, управлявшие как социальными группами, так и индивидами. Уникальное наследие Достоевского заключается, скорее всего, в его неугасаемой способности своими произведениями провоцировать читателей, возбуждать у них гипертрофическое мышление посредством сомнения, парадокса, озарения и спора. Он заставляет читателя зависать над «пропастью».

Беспрецедентная «пронзительность» Достоевского привела к тому, что еще сегодня он глубоко противен тем, кто его страстно не любит. Не все читатели и литературоведы готовы сталкиваться со сложным опытом парадоксальности, касающейся в том числе и биографии писателя. Большое количество исследований о его жизни убеждали читателей в том, что самые важные аспекты его жизни в общем-то хорошо известны и что с ними непосредственно связано толкование его творчества. На самом деле дела обстоят иначе.

¹ О различных аспектах публицистики Достоевского, ср. [ЗАХАРОВ и др.].

Не все было одинаково объективно изучено в биографии и творчестве Достоевского и много элементов из жизни писателя непросто сочетать с его искусством. Кроме того, даже читатели, намеревающиеся узнавать больше о Достоевском, готовы все-таки узнавать только «то», что подходит к уже сформировавшемуся «имиджу» писателя. Поэтому идти против установившихся мнений и предубеждений требует смелости со стороны как биографов, так и литературоведов. Но, если противоречия художника вызывают более или менее естественную, уравновешенную реакцию филологов (ведь широкая публика ими не занимается), то общественная фигура Достоевского, сконструированная посредством публицистики, переписки и воспоминаний современников, поддается своего рода идеологической цензуре сознания с целью сохранить вокруг писателя некую пророческую ауру.

Именно так можно интерпретировать ряд явно запретных тем, о которых редко встречаются отклики в бесчисленных, постоянно появляющихся статьях и книгах о писателе. Среди них выделяется тема отношений Достоевского к евреям и к «еврейскому вопросу», в частности и вопрос антисемитизма, который характеризовал, между прочим, современную ему среду. В этой связи существуют вопросы, на которые попробовали отвечать крайне немногие исследователи, притом они это делали неохотно или же совсем пристрастно: был ли Достоевский антисемитом? Если его можно назвать таковым, то в чем заключался его антисемитизм? Отличался ли он от антисемитизма других его современников (в Российской империи и за рубежом)?

Скудные ответы на эти вопросы предлагались с разных, порой противоположных позиций – для некоторых Достоевский был лютым антисемитом, а для других он был совсем лишен этого свойства. Поэтому подавляющее большинство исследователей оставляло этот вопрос вне поля своего рассмотрения, т. е. умалчивали о существовании самого вопроса, как будто испытывая дискомфорт, риск обострять нежеланные дебаты и «осквернять» фигуру любимого писателя. Усугублению этого запрета помогла «удобная» (в этом плане) идея, что обсуждение этой темы не может быть ни серьезным, ни объективным, ни перспективным. Победила недосказанность, ставшая главной составляющей в упразднении дискуссии о связи Достоевского с еврейским вопросом и о его предполагаемом антисемитизме. Год за годом, как в публицистике, так и в науке такой запрет закреплялся и приобрел форму тоже недосказанного «академического вето».

Следует по этому поводу подчеркнуть элементарный и антропологически неоспоримый факт, что любая форма табу отражает некую незрелость общества и связанный с ней неразрешенный «страх». А страх всегда чреват конфликтами. По этой причине любая попытка нарушить запрет, разоблачить недосказанное, тем более при применении научного метода и отсутствии тенденциозного настроения, – дело мужественное и общественно полезное. Гласность – наилучшее противоядие от страха и с ним связанных латентных конфликтов.

Главная заслуга книги «Достоевский и евреи» Марка Уральского и Генриетты Мондри – мощное и убежденное нарушение запрета, представляющее удачную и перспективную попытку осветить тему-табу при соблюдении научного дискурса. Книга не только раскрывает щекотливые вопросы об антисемитизме Достоевского, но и предоставляет читателям богатый инструментарий для проверки вероятных заключений как в плане документов и реконструкции контекста, так и в плане самого анализа источников в их взаимном сопоставлении. Предложенный авторами анализ относится к разным уровням вопроса – историческому, идейному и философскому, с главной целью привлечения читателей к продуктивной дискуссии, ознакомив их с текстами, которые находятся у истоков предубеждений, «полуправд» и табуирования. Предвзятые мнения и искажения (настоящей или мнимой) идеологии Достоевского распространялись на протяжении полутора столетий в виде «испорченного телефона», т. е. непроверенных, вторичных, аж десятичных источников. Разоблачение любой «лже-правды» – самое благородное задание науки.

Авторы книги о Достоевском и евреях считались с трудами и мнениями предшествующих исследователей данной темы, ссылаясь на прямые источники: на полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского и на широчайший объем документов современников писателя, так или иначе связанных с «еврейским вопросом». Стоит, следовательно, остановиться на методе работы двоих авторов, ибо его специфика поможет читателю оценить некоторую «нестандартность» данного труда и ее, так сказать, «типологию».

Следует предварительно заметить, что авторы составили книгу, работая самостоятельно и параллельно в четко определенном, личном направлении. Объем каждой из двух частей значительно отличается от объема другой.

Писатель-документалист Марк Уральский посвятил свою часть еврейской тематике в публицистике и переписке Достоевского, проанализировав все имевшиеся в его распоряжении тексты на сопоставительном фоне исторических, культурных, философско-политических событий и споров его эпохи. Он реконструировал исторический контекст «еврейского вопроса» в Российской империи как необходимую исходную точку для обоснованного и аргументированного обсуждения высказываний и мнений Достоевского, но также и некоторых ключевых (с данной точки зрения) эпизодов из его биографии.

Филолог Генриетта Мондри обратилась к художественным произведениям Достоевского, используя инструментарий герменевтики, предлагая анализ как персонажей-евреев, как и намеков на еврейскую тему в корпусе его романов, повестей и рассказов.

Следует заметить, что около двух третей книги принадлежит перу Марка Уральского, а страницы Генриетты Мондри выглядят скорее детальным дополнением к главной части ее соавтора. Причина этого явного дисбаланса – структурная. Она связана исключительно с объемом и типологией изучаемого материала.

Дело в том, что «еврейская тема» довольно редко встречается в художественной прозе Достоевского, в то время как она занимает видное место в публицистике и переписке писателя. Тема важна, прежде всего, для реконструкции личности русского корифея и определения его роли в формировании общественного мнения как при его жизни, так и в десятилетия, следующие за его смертью (ср. [VASSENA (I), (II), (III)]). Ввиду указанной структуры книгу можно считать в одно время единым всеобъемлющим трудом и сочетанием двух разных по стилю, объему и задачам эссе. В этом не следует обнаруживать противоречие. Напротив, авторское «двуголосие» действует динамичным фактором, благодаря которому читателю предоставляется возможность рассматривать затронутые вопросы с двух автономно представленных перспектив, которые никак не исключают несовпадающих заключений. Объективная невозможность однозначной оценки некоторых текстов и биографических событий высказывается в несоответствии взглядов двух авторов, хотя, пусть и следуя каждый своей красной нити, культуролог и филолог приходят чаще всего к примерно единым выводам. Этот факт придает убедительности их общим заключениям.

По мнению Марка Уральского, главы, им написанные, принадлежат к жанру «документальной прозы» (нон-фикшн), который пользуется широкой читательской популярностью современной России. В рамках этого жанра появлялись не только издания чисто популяризаторского характера, но и вполне научные оригинальные работы, способные внести новый вклад в исследуемый предмет. В этом отношении настоящая книга отвечает требованиям разнородной аудитории, поскольку исследовательское и публицистическое начала находятся в ней в диалогичной взаимосвязи, а изредка вступают в научный конфликт. В подобном жанре исследовательский элемент сочетается с ясным и живым стилем, ибо среди адресатов находятся не только специалисты-литературоведы, но и широкий круг образованных интеллигентов, для которых органичная реконструкция исторической и биографической среды является прерогативой. В частях книги, написанных Уральским, смесь подходов высказывается более значи-

тельно, чем на страницах Мондри, придерживающейся канонической формы филологического дискурса.

Метод Уральского можно назвать «ткань и глосса». «Тканью» является скрупулезное, логично обоснованное накопление документальных данных, свидетельств, сведений, в некоторых местах носящих почти хрестоматийный характер. «Глосса» же состоит из преимущественно кратких авторских комментариев, связующих документальные данные с разъяснением возникающих из них вопросов. Сочетание «ткани» и «глосс» обеспечивает диалог между прошлым и настоящим. В отличие от широко распространенных исторических реконструкций современными идеологами, подход Уральского предотвращает риск анахронизмов, вызываемых применением к событиям прошлого тех оценочных параметров дискурса, понятий и терминов, которые относятся не к изучаемому контексту, а к эпохе данного исследователя.

В книге самые щекотливые идеологические аспекты изучаемых вопросов истолковываются авторами честно и разумно. Читатель может соглашаться или не соглашаться с авторами, но рассказ ведется вне всякой тенденциозности или попытки манипуляции в пользу тех или иных тезисов. Напротив, в ряде случаев подобные попытки прежних исследователей разоблачаются Марком Уральским, независимо от их установок, держась неизменного принципа проверки фактов и сопоставления текстов с контекстом. Именно контекст стал главным объектом анализа Уральским, что положительно отличает его работу от трудов предшествующих исследователей еврейской темы у Достоевского. Подобный «майевтический подход» к теориям, позициям, идеям и толкованиям (самого Достоевского, его современников и потомков) – едва ли не лучшее качество исследовательского метода Уральского.

Стоит еще заметить, что особенно парадоксальный аспект «антисемитизма» заключается в том, что от обвинения в нем пытается отделаться представитель любой культуры, а открытое признание собственного антисемитизма со стороны интеллектуала – редкий случай, относящийся к представителям политического или религиозного экстремизма.

На протяжении давней истории антисемитизма имели место особенно интересные случаи ярых антисемитов, которые (порой искренно этому веря) отрицали свою неприязнь к евреям, вуалируя ее своим «честным» националистическим усердием. Очевидно, в развитой культурной среде антисемитизм никогда не считался достоинством и редки случаи, когда писатель, поэт или филолог афишировали публично подобные взгляды, особенно после «J'accuse...!» («Я обвиняю!») Эмиля Золя в 1898 году. Именно поэтому дело представляется особенно щепетильным, когда подозрение в антисемитизме касается фигуры общенационального масштаба, с которой идентифицируется целая национально-народная группа, а Достоевский для многих является именно эмблемой национальных добродетелей «русского» народа. В этом смысле реакции перед антисемитизмом подобной личности напоминают о реакции перед порнографией – если «нарушение» происходит «публично», то всем инстинктивно хочется отвести глаза, если даже не перенести неприязнь от антисемита к его разоблачителям. Этим тоже объясняется невысказанный, но четкий призыв к умалчиванию неудобной темы. Из этого следует, что, как антисемиты, так и «анти-антисемиты» обычно предпочитают считаться с этим вопросом «за кулисами» или, вообще, сохранить в себе мысли и доводы об этом.

Публично затрагивать тему антисемитизма по отношению к Федору Михайловичу Достоевскому является довольно смелым поступком, особенно если цель исследования не поверхностный эпатаж, а строгое обсуждение вопроса. А подобное обсуждение касается не только понимания предполагаемого антисемитизма великого писателя, но и самой специфики шаблонного русского «жидофобства», которое в России всегда было государственной, политической, бытовой, психологической или религиозной, но никогда сугубо «расистской» (как это было в фашистских Германии и Италии). Это не поможет, пожалуй, освободить Достоевского от подозрения в антисемитизме, но может объяснить, почему в его текстах встречаются откры-

тые неблагоприятные высказывания в адрес «жидов», в том числе и ссылки на столь болезненное понятие «арийского племени», исключаящей одних евреев.

Смелому решению авторов данной книги обратиться к этой теме можно предложить разные объяснения. Во-первых, они являются специалистами по истории русско-еврейских культурных и литературных взаимоотношений. Во-вторых, будучи далеки от бульварного эпатажа или от какой-либо идеологии, они могли без труда придерживаться аналитического подхода, несовместимого ни с упрощенчеством, ни с тенденциозностью. В-третьих, они накопили уникальный по объему материал, касающийся этого вопроса, который, безусловно, позволял им разрушить «круговую поруку» уже установленного «режима умалчивания». Кто-то обязательно должен был это сделать. Книга Уральского и Мондри заполняет пресловутый исследовательский пробел. Но данная книга ценна не только по этой причине, а потому еще, что ее авторы не побоялись затронуть и другую, более скользкую запретную тему, непосредственно связанную с антисемитизмом Достоевского. Речь идет о восприятии творчества и личности русского корифея в среде германского национализма до и после учреждения Третьего Рейха. Подобного рода предмет выглядит по-настоящему одиозным, ибо касается «присвоения» русского писателя сначала теоретиками немецкой «консервативной революции», а затем мелкими и крупными идеологами национал-социализма.

Именно публицистика Достоевского, с которой связана репутация автора как реакционера, юдофоба и «мистического националиста», пусть и в значительно искаженном виде способствовала успеху писателя среди идеологов нацизма. Тем, кто знаком с немецким достоевковедением, хорошо известны, например, страстная любовь Геббельса к романам Достоевского и манипуляция его именем нацистской пропагандой на советском фронте во время Великой отечественной войны. Вряд ли об этом можно найти след в фундаментальных российских исследованиях, что отчасти объясняется вышеупомянутым старанием не осквернить образ писателя. Однако «оберегание» образа Достоевского посредством умалчивания или игнорирования – затея наивная, ибо на самом деле он находится выше любого уровня риска, в то время как недосказанность может потенциально становиться своего рода «культурным самовредительством».

В послевоенное советское время табу об историческом развитии антисемитизма в России совсем не подрывалось, а скорее подкреплялось. СССР пропустил важный позыв истории: для подкрепления многонационального государства и созревания самосознания общества он выбрал недосказанность и по поводу еврейской Катастрофы и однозначно отстранился от любой ответственности. Международной пропагандой нацисты стали представляться единственными палачами, хотя целая Европа, включая Россию, так или иначе, носила ответственность за массовое истребление еврейского народа. Парадоксально, одна Германия пошла на «гласность» и как-то, более-менее, смогла считаться со своим «темным пятном». Как известно, уже давно в Германии принято изучать скользкую тематику антисемитизма откровенно и даже болезненно, т. е. с чувством, присущим обществу, желавшего разоблачить свою кровавую ответственность и разработать с ней связанную историческую травму. Одни немцы преднамеренно и усердно старались, не щадя боли, превратить опыт коллективной вины в повод для морального преобразования и созревания.

Исследование отношений культурной политики тоталитарных режимов к творчеству Достоевского отнюдь не второстепенное дело в дискуссии об его роли в антисемитизме. Это исследование тоже связано с моральной ответственностью зрелого общества. Освещение темных страниц в истории восприятия Достоевского соратниками фашизма поможет, между прочим, и рассеять некоторые тучи вокруг славы писателя, ведь идеологическая эксплуатация его имени и его творчества во имя кровавых целей, безусловно, вызвали бы у него самого глубокое чувство отвращения. Это предположение можно аргументировать на основе личной и творче-

ской морали писателя. Все зависит, опять-таки, от добросовестного внимания к контексту их сочинения и их интерпретации.

Дело в том, что у Достоевского действительно можно найти все и всему противоположное. С одной стороны, можно читать его художественные шедевры с филологической точки зрения, а с другой можно произвольно объединить элементы вымысла художника с идеологическими мнениями публициста и с отрывками личной переписки. Никто больше Достоевского не поддается упрощенной или ядовитой манипуляции. Кого-то поражает его милосердие, сочувствие к человеку, склонность к скепсису и неприязнь к злоупотреблению любой власти; иные любят в его произведениях «пророческий дух». Третьи изнемогают от его шаблонных представлений и предпочитают не вникать. Лишь немногие могут сосредоточиться на противоречивом сочетании предполагаемых крайностей в поиске «художественной логики».

В «Бесах» и «Братьях Карамазовых», например, Достоевский предвещал механизмы развития тоталитарного мышления. Интуицией художника он прогнозировал кровавое направление в эволюции классовой борьбы и «идеалов» западного материализма; его публицистика явно указывает на готовность писателя выступить голосом традиционной православной России на общественно-политической арене Российской Империи при Александре II (погибшем, кстати, несколько недель спустя его смерти). Этого было достаточно, чтобы возбудить живой интерес у идеологов реакционных тоталитаризмов, захвативших почти всю Европу в первой половине XX века. Между прочим, ситуацию с восприятием Достоевского-политика мастерски резюмировал итальянский славист Витторио Страда:

если весомость сложной политической концепции Достоевского хочется определить не с точки зрения исчерпывания ее комплексной сложности, а лишь с целью определения ее доминантного направления, то говорить о национализме станет возможно. Но этот термин требует в свою очередь бесконечных уточнений, поскольку «русская идея» Достоевского, столь конкретная в политических проявлениях как в России, так и за рубежом, является прежде всего мощным мифом, родившимся не в лоне грубого собственнического провинциализма тривиальных национализмов, а от утопического поиска какого-то *ubi con-sistam*, т. е. прочного ориентира в ужасном беспорядке современного мира. Парадокс Достоевского-мыслителя и, одновременно, романиста заключается в том, что он, будучи автором самых гениальных разоблачений утопий нашего времени, искал свой приют в архаичной утопии, эмблемой которой являлась православная Россия. А вторичный парадокс в том, что именно в своей обожаемой России Достоевский проанализировал те нигилистические бациллы, которые доведут ее до гибели. Читая романы Достоевского, трудно отделаться от амбивалентного чувства пылкой надежды в реальную и вымышленную Россию, но и отчаянного представления ей предназначенной катастрофы. Разрушая гибельные утопии современности, Достоевский разрушал и собственную спасительную «контр-утопию традиционности» [STRADA. P. IX–X].

Эти слова подсказывают читателю, что нельзя обоснованно заключить, что основной ориентацией политических взглядов Достоевского был национализм, ибо как идейный, так и художественный ракурс его творчества не оправдывают подобного упрощения. Философское наследие Достоевского раскрывает широкую палитру порой расходящихся между собой интерпретаций, каждую из которых можно отчасти аргументировать одним или другим произведением художника или посредством его публицистики или биографических сведений:

гетерогенный и разрывный характер размышлений Достоевского находит подтверждение как в политических событиях из жизни русского писателя, с ее бурным плаванием между скалами царского самодержавия и радикальной интеллигенции, так и в отсутствии прямых его наследников... [VALLE (I). P. 9].

Не только в российском, но и в зарубежном достоевсковедении тоже еще отмечаются недосказанность и своего рода «табуирование» по отношению к еврейской тематике, объяснимые желанием не раскрывать самые черные страницы европейской истории XX века. По этой главной причине внимание, выделяемое Уральским восприятию Достоевского, как в среде экстренного немецкого консерватизма, так и в реакционных, антисемитских кругах России и западной Европы, является новейшим, важным вкладом в российское, в том числе, достоевсковедение.

Настоящую потребность в раскрытии этой междисциплинарной тематики показывали лишь несколько отдельных и отрывочных исследований. Пример Италии, в этом смысле, кажется особенно уместным. Можно без преувеличений сказать, что влияние Достоевского было фундаментальным для установления итальянской культуры XX века. Оно сказывалось не только в области художественной литературы, но и для развития философского и религиозного мышления с отражением на общественно-политические споры [АЛОЭ].

Итальянское достоевсковедение активно интересовалось различными аспектами творчества писателя и немалое внимание выделялось вопросам, так или иначе связанным с политической концепцией (таким, как социализм, нигилизм, Великий Инквизитор, отношение писателя к католицизму и т. п.). Много писалось о восприятии творчества Достоевского итальянскими писателями, мыслителями, интеллектуалами, о переводах и изданиях его произведений, об отношении к нему в журналах и в определенных культурных кругах. Оказывается, однако, что до сих пор отсутствуют обстоятельные исследования о восприятии Достоевского в Италии за двадцатилетие фашистского режима, хотя в отдельных трудах авторы указывают на ключевое и постоянное присутствие имени писателя в культурном дискурсе тех лет ([ADAMO], [BASELICA], [SORINA] и др.). Пока предоставлены учеными лишь фрагментарные данные, которые могут, однако, оказаться интересными для сопоставления обстановки в Италии с ситуациями в нацистской Германии и сталинском СССР.

В фашистской Италии роль культуры сильно отличалась от роли, которую она играла как в Советском Союзе, так и в нацистском Рейхе. В двадцатые годы, в первой фазе своего существования, итальянский фашизм во многом видел модель новорожденного Советского Союза как образец для организации своей культурной политики. Однако только в следующее десятилетие культурная политика фашистской партии полностью дистанцировалась от ориентира на уже явного восточного врага. В общем современные историки фашизма склонны выявлять в культурной политике режима Муссолини отсутствие органичной и всеохватывающей концепции [GHINI. P. 13–23]. Культура не была стержнем политики, ее не наделяли общественно-воспитательными функциями, поэтому не звали литераторов на миссию обоснования новой «фашистской» культуры. Сама система цензуры была не столь удушливой, как это происходило в СССР и в Германии. При фашизме главный интерес выделялся массовой культуре с целью не привлечения, а отвлечения от политики, в то время как за культурными элитами признавалась относительное право на свободе слова во всем том, что не имело прямого отношения к идеологическим постулатам режима.

В первое десятилетие фашистской Италии распространение русской и даже советской литературы не только не встречало особых препятствий, но и росло стремительно; так продолжалось до середины 30-х годов, когда все изменилось в связи с антисоветской (и в целом, ксенофобской) националистской пропагандой; цензура стала заметно проявляться лишь в те годы, допуская минимальное количество публикаций, связанных с Россией (не раз арестовывались уже изданные тиражи) [RE. P. 74].

В этом контексте, среди русских авторов имя Достоевского занимает первое место по количеству изданий и цитат в статьях [SORINA]: его произведения многократно переводились для крупных и мелких издательств, его тиражи были самыми значительными, писателю посвящались статьи в журналах и газетах, на него ссылались не только литераторы, но и философы и

журналисты. Роль Достоевского-мыслителя никак не уступала его успеху романиста – именно в те годы издавались впервые в итальянском переводе не только художественные произведения, но и «Дневник писателя», письма и отдельные публицистические произведения. Они вызывали отзывы и рецензии.

Политические взгляды Достоевского, таким образом, могли получать довольно широкое распространение в итальянском обществе, хотя самого Достоевского не причисляли к корифеям фашистской реакционной и антикоммунистической «революции» так, как это происходило в те же годы в Германии. Вероятно, на восприятие писателя как пророка христианского гуманизма, а не как представителя реакционного националиста, повлияли католическая среда вместе с авторитетными оценками Н. Бердяева и, в особенности, Вячеслава Иванова, проживающего тогда в Риме, активно участвовавшего в деятельности итальянской интеллигенции. Именно в тридцатые годы, между прочим, Луиджи Парейсон, один из самых известных представителей итальянского экзистенциализма, начинал свое долголетнее исследование о философском начале художественного наследия Достоевского. Это способствовало тому, что философско-христианское веяние его романов стало доминантным элементом в итальянских отзывах о русском писателе.

В этом процессе, фашистский режим не играл непосредственной роли. Двое главных представителей официальной культуры той эпохи, т. е. фашист Джованни Джентиле и нефашист Бенедетто Кроче, в общем недооценивали как Достоевского, так и русскую словесность. Кроче явно не понимал и не принимал творчества Достоевского, причисляя его к литературному направлению итальянского реализма («веризма») или французского натурализма конца XIX века (ср. [ADAMO. P. 89]). Более проникательным оказался подход Джентиле, ставшего настоящим основоположником культурной политики фашизма. Признание им первостепенного значения творчества Достоевского (и русской литературы) стало проявляться после 1932 г., когда его назначили главным редактором флорентийского издательства «Сансони». В издательскую программу Джентиле внес публикацию главных романов Достоевского и фундаментальной «Истории русской литературы» Этторе Ло Гатто [VITTORIA. P. 197].²

Однако и в основном, неотвратимое проникновение Достоевского в глубину итальянской культуры следует приписать интеллектуалам и писателям, далеким от фашистской идеологии, или ее активным оппонентам (таким, к примеру, как Пьеро Гобетти, Леоне [Лев] Гинцбург, Альберто Моравиа). Профашистские же интеллектуалы стремились объявлять самодостаточность «италийского духа», отрицая потребность в любом взаимоотношении с «чужими» культурами, тем более с «чумовой» культурой большевистской России. Характерны в этом отношении демонстративные высказывания тогда воинствующего писателя-фашиста Курцио Малапарте, такими словами охарактеризовавшего Достоевского: «одержимый эпилептик, я его не знаю» (а Толстого – «старик, который решил умереть в третьеклассном зале ожидания на маленькой станции России»). Малапарте считал вообще, что «нельзя читать не-латинских писателей», что это «бесполезно и вредно» [LAGARDE. P. 84–85]. В те времена он на самом деле уже очень хорошо знал Россию и ценил русскую литературу, но придерживался куражного и провокационного подхода «революционных» фашистов, унаследованного от «правых авангардов», в первую очередь от итальянского футуризма.³

² Джентиле тоже, как и Кроче, считал русскую интеллигенцию недостаточно развитой с точки зрения философско-политического сознания (ср. [VALLE (II). P. 42]) и ее определил как «безумное отродье, размноженное тем абстрактным и бродячим русским духом, который так типично был выражен в наивных теориях Бакунина и в самом искусстве Толстого» [GENTILE. P. 340].

³ В будущем он от фашизма отказался и вообще тексты Достоевского играли немаловажную роль в его произведениях. О тесных связях между итальянским и русским фашизмом, см. [ГАРДЗОНИО], [ОКОРОКОВ], [GIULIANO].

В тридцатые годы все-таки встречались в Италии попытки «фашистизации» Достоевского,⁴ но фигура русского писателя оказывалась, по всей видимости, слишком глубокой, сложной и потенциально «опасной», чтобы она была канонизирована на культурном поприще тоталитарной Италии.⁵ Об этом пишет Серджия Адамо, тщательно изучившая восприятие Достоевского в итальянских журналах того времени:

Фашистское государство <в 30-е годы> нуждалось в органической культуре, способной принимать в любом виде общеполитический облик <...>, способной выражать единое и всеохватывающее фашистское мировоззрение <...>. Непременное приближение к Достоевскому происходило на основе такого predetermined контекста, при предварительном понижении степени той проблематичности, которая стала постепенно проявляться в течение 20-х годов. Оно основывалось на систематическом вытеснении самых проблематичных интерпретаций XX века <...> итак почти полностью застыло внимание периодических изданий к русскому писателю <...>. Операция нейтрализации в отношении Достоевского была особенно тонкой – русского писателя заставили воплотить основные позы фашистской пропаганды и одновременно его отстранили как от предварительных средств создания консенсуса, так и от наиболее оживленных культурных веяний <...>. На этих основах, Достоевского наделили одновременно функцией сторонника бюрократизированной государственной религиозности, нацеленной на империалистское первенство, и разоблачителя истинной природы большевизма. Концепция Достоевского о русско-православном примате могла становиться моделью для империалистической миссии фашизма [ADAMO. P. 193–195].

Сближение режима Муссолини с гитлеровской Германией во второй половине тридцатых годов привело к заимствованию многих поведенческих черт общественно-политического характера у мощного союзника. Это привело к обострению этно-национальной коннотации итальянского национализма и так наз. «империализма с цивилизационной целью». Речь идет в первую очередь о возникновении и быстром распространении еврейской темы, до того момента почти отсутствующей в итальянских общественных дебатах. Неслучайной является, в сентябре 1938 г., в соответствии с появлением в Италии антиеврейских «законов о расе», публикация анонимной статьи под громким заглавием «Русская (еврейская) революция и пророчество Достоевского». Она появилась в венецианской газете «Gazzetta di Venezia» и ссылалась на авторитет Достоевского, настаивая на пагубную роль евреев в мировой экономике [GAZZETTA]. До того момента лишь один раз антисемитские высказывания Достоевского прозвучали в итальянской прессе: в фашистском культовом журнале «Il Selvaggio» («Дикарь»), опубликовавший в 1927 году перевод отрывка из статьи «Дневника Писателя» («Status in statu») [SELVAGGIO].

⁴ В это направление шла, например, инициатива, предпринятая к пятидесятилетию со дня смерти писателя в 1931 году, для накопления средств на достойный надгробный памятник Любви Достоевской, дочери писателя, похороненной в поселке Грисес под г. Больцано. Инициативу предприняла венская газета «Neue Freie Presse», но присоединились к ней и итальянские газеты, что привело к успешному результату. Главный редактор альманаха «Rivista della Venezia Tridentina» обратился к губернатору г. Больцано и, указывая на недопустимое вмешательство в таком «патриотическом деле» иностранцев (австрийцев), предложил участие своего журнала в установке мраморного памятника (ср. [MARABINI ZOEGGELER. P. 99]). 12 декабря 1931 г. состоялось торжественное открытие памятника, тогда окруженного ликторскими пучками (символ фашистской партии).

⁵ Предполагаемое использование имени Достоевского с пропагандистской целью итальянскими войсками во время второй мировой войны на советском фронте – отдельный вопрос, еще ожидающий проверки. Многочисленные же свидетельства указывают на то, что имя Достоевского, как и других русских писателей, стало знаковым для самоопределения многих антифашистов.

В итальянском общественном дискурсе и раньше затрагивалась связь между еврейским вопросом и большевистской революцией, но спор был количественно и качественно гораздо спокойнее, чем это происходило во многих других странах. В любом случае творчество Достоевского не занимало такой ключевой роли, как пресловутые «Протоколы Сионских мудрецов», имевшие в Италии тоже заметное распространение [DE MICHELIS (I), (II)], [CIFARIELLO)].

Это детальное, но все-таки синтетическое отступление из истории фашистской Италии свидетельствует о том, насколько важной являлась и продолжает являться фигура Достоевского за границами России. Гораздо больше Пушкина (известного на западе лишь элитам) именно Достоевский является главной эмблемой русской культуры за рубежом. Его произведения использовались неустанно для манипуляции и мистификации (предполагаемого) его мышления, притом в совершенно разные, порой противоположные направления. Этот немаловажный факт указывает, с одной стороны, на необходимость заполнить – на основе текстов, документов, писем, воспоминаний – лакуны, продиктованные недосказанностью; с другой стороны, он говорит и об ответственности и трудностях тех, кто решается писать об отношениях Достоевского к евреям. Эти сугубо исследовательские сложности проявляются в немногих предыдущих попытках анализа этой тематики.

До настоящей книги немногие публикации пытались вызвать интерес к щепетильной теме «Достоевский и евреи» и, фактически, никто еще не сумел обосновать научную дискуссию. Среди этих публикаций, многим известна книга Дэвида И. Гольдштейна «Достоевский и евреи», опубликованная впервые в Париже в 1976, переведенная на английский (с предисловием знаменитого биографа Достоевского Джозефа Франка) и на сербский языки.

В своем предисловии к сербскому переводу книги Гольдштейна Миодраг Радович пишет, что «в принципе, антропология героев Достоевского артикулируется этически, а не этнично» [RADOVIC. S. 12]; в этих словах заключается имплицитная критика Гольдштейну, направлявшему свой взгляд на те места произведений Достоевского, где мелькает еврейская тема. Он тщательно их просмотрел тематически, но в целом недооценивал их соотношения с историко-общественным контекстом. В результате анализ, проведенный Гольдштейном, вызывает фундаментальное сомнение о том, не преувеличил ли автор значение еврейского вопроса в глобальной концепции Достоевского.

Еще более обстоятельную критику книги Гольдштейна обнаруживается в предисловии Франка к американскому изданию. Однако, именно на этих кратких страницах знаменитого достоевковеда впервые открыто ставится капитальный вопрос о «двух Достоевских», т. е. о возможности трактовать писателя-художника и публициста-человека совершенно отдельно друг от друга [FRANK. P. IX–XV]). Гольдштейн предусмотрел этот подход, но его озвучил сам Франк, раскрывая таким образом эксплицитно самый значительный «узел» эпистемологической дискуссии об изучении разнородных произведений и текстов Достоевского.

Марк Уральский и Генриетта Мондри в своем подходе к еврейской тематике внимательно считались с предыдущим опытом как Дэвида Гольдштейна, так и иных предшественников. Их понимание рискованности одностороннего взгляда позволило им подойти к столь острому вопросу с беспристрастием научных исследователей. В книге «Достоевский и евреи» поражает детальнейшее изучение исторических материалов, которое предотвратило их от погрешностей инициатора. Это отнюдь не означает, что читатель новой монографии не будет сталкиваться при чтении со спорными местами. Напротив, именно разносторонний характер «расследований» сопровождается у авторов прекрасным сознанием о разнице между «данными» и «мнениями». Уральский, к примеру, решился обрисовать подробный психологический портрет Достоевского, исходя из свидетельств и биографических данных о нем. Подобная операция не лишена рисков, потому что автор неизбежно идет по лезвию ножа между научнодоказуемыми фактами и субъективной интерпретацией. Самому читателю предоставляется решить, насколько предложенный портрет Достоевского представляется убедительным или спорным.

Каким бы ни оказалось мнение читателя, портрет писателя, созданный Уральским, представляется живым и интересным именно в плане соприкосновения с «реальным человеком» Достоевским. Обнаруживаются и другие моменты, когда дух публициста берет верх над сугубо научным дискурсом – некоторые ноты полемичности и личной вовлеченности становятся почти неизбежными перед столь болезненной темой. Но это бывает лишь изредка и даже оживляет чтение, подтверждая соответствие книги жанру «документальной нон-фикшн» без претензий на безукоризненное «безличие» академического стиля (не всегда, кстати, присущее исследованиям «гуманитариев»).

Парадоксальным образом, именно благодаря трезвости обоих авторов и избранному ими методу работы, хочется признать за ними некоторое право намеренно «вступать в арену споров». На наш взгляд подобное, принципиально сложное сочетание исследовательского и критического подходов авторам удалось. Поскольку в книге спорность высказывается честно и в неизменном сопровождении логично разработанных аргументов, то «борьба» рассуждений не ведет в беспорядок, а способствует раскрытию или разрешению важных запутанных «узлов».

Нельзя согласиться с Марком Уральским лишь в неоднократном выражении скептического отношения к российскому современному достоевсковедению в целом. По мнению автора, казалось бы, сегодняшние исследователи творчества Достоевского в России принимают априорную позицию апологетов патриотических и православных взглядов писателя. Так обстоят дела в некоторых случаях, реже у текстологов и филологов. На самом деле в трудах российских достоевсковедов обнаруживаются разные направления – светские и религиозные, православные и не православные, философские и политические, притом не всегда выбранное направление становится «тенденцией».

Для современного российского достоевсковедения высокого профиля не характерны модные «околоцерковные» толкования творчества писателя (часто эфемерные, ибо основанные на недостаточно глубоких знаниях в области богословия); скорее замечается в них внимание к текстологическим вопросам, к рукописным источникам, к источниковедению (нередко при использовании новой технологии). Обобщающий взгляд Уральского объясняется тем, что он имеет в виду не «науку», а немалое количество псевдонаучных, поверхностных или явно конъюнктурных публикаций, тенденциозно направленных на прославление Достоевского как главного кумира русского православия. Неприязнь к подобной лженауке – небезосновательна, но необходимо отдать должное самым серьезным российским исследователям, что наука о Достоевском в России не отстает (впрочем, сам Уральский имплицитно это признает, ссылаясь на значительное количество ценных академических исследований).

Подходя к заключению, стоит вернуться к особенностям этой книги, способной вызвать чувство благодарности. Речь идет о вышеуказанном «двуголосье» или, лучше сказать, «многоголосье». Двое авторов работали самостоятельно, обмениваясь информацией и мнениями, но не подчинялись к единой, монологической концепции. Это становится большим «плюсом» их труда, который, вопреки всей тенденции нашей эпохи, умеет разыскивать и разъяснять тонкости, больше чем подавать просторные «полуфабрикатные» ответы. Благодаря многоголосью, в этой книге читатель не найдет на поставленные вопросы однозначного, окончательного и безоговорочного ответа. В этом заключается безусловная заслуга монографии, отражающей глубокое родство с наукой, ведь настоящая наука занимается не «правдой» или «истиной», а разоблачением ошибок, лакун, противоречий и (все чаще и чаще распространенной) явной неправды.

Мнения Уральского и Мондри насчет отношений Достоевского к евреям и еврейскому вопросу, насчет уровня его знаний о еврейской и иудейской культуре не во всем сходятся, а в чем-то даже сильно расходятся. Читателям предоставляется задача раскрывать эти ценнейшие места и переживать то состояние парадоксальности, к которому их приучило само творчество Достоевского.

Как все парадоксы, связанные с Достоевским и им самим умышленно инициированные, чтение этой книги предусматривает умственную зарядку и действует противоядием от тривиальной однолинейной «правды», неизбежно закрепляющей то самое манихейство, против которого самый тонкий и дерзкий русский гений воздвигнул свою мощную художественную крепость. Мир Достоевского был создан в «подземной вселенной» человеческой психики; этот мир является неевклидовым пространством, в котором «дважды два – пять – премилая иногда вещь». В том-то и дело, что *иногда*, ибо все, в многомерной вселенной Достоевского, относится к латентной возможности быть *не так*, как кажется (или... хочется).

Еще раз, но гораздо глубже данная книга раскрывает вопрос о ценнейшей двойственности наследия Достоевского, о вопросе несоответствия художественного и публицистического корпусов его текстов. Еще раз ставится здесь спорный вопрос о том, насколько можно отличить великого художника от историко-общественной фигуры или тонкого и великодушного аналитика меандров человеческой психики от русофила, явно не лишенного юдофобских предубеждений. Ответ останется столь же открытым, как и сам вопрос. А в этом, все же парадоксально, Достоевский походит на ученого раввина, способного терпеливо разыскивать в Торе все новые и новые вопросы и покорно считаться с очень вероятным отсутствием окончательного, человеческого ответа.

*Стефано Алоэ и Лаура Сальмон
Италия, март 2021 года*

Вступление

Настоящая книга является очередной из многотомной серии произведений авторов, раскрывающих одну из ярких страниц русской культуры – полувековую историю взаимоотношений классиков русской литературы с еврейством. За последние двадцать лет из под пера Марка Уральского и Генриетты Мондри вышли в свет следующие книги: «Бунин и евреи», «Горький и евреи» (2018), «Марк Алданов: писатель, общественный деятель и джентльмен русской эмиграции (2019), «Чехов и евреи», «Лев Толстой и евреи» (2020) [УРАЛ (I–V)], «Писатели-народники и евреи. Г.И. Успенский и В.Г. Короленко (по следам «Двести лет вместе»)» (2005) [МОНДРИ (I)] и «Василий Розанов и евреи» (2000) [КУРГ-МОНДРИ]. Логическим продолжением этой тематики является книга «Достоевский и евреи», поскольку именно эпоха российской истории, на которую приходится жизнь и деятельность Достоевского: конец 1850-х – начало 1880-х годов, относится ко времени начала тесных контактов между представителями русского и еврейского культурных сообществ. Эти годы отмечены появлением на русской культурной сцене литераторов, художников и музыкантов еврейского происхождения и одновременно возникновением непрерывного русско-еврейского дискурса, по поводу которого Василий Васильевич Розанов, характеризуя его как «спор», писал (В.В. Розанов – М.О. Гершензону, ок. 14 января 1913):

Вообще «спор» евреев и русских или «дружба» евреев и русских – вещь неоконченная и, я думаю, – бесконечная [ПЕРЕП: РОЗ-ГЕР. С. 238].

В приложении к Достоевскому, как, впрочем, и самому В.В. Розанову, это замечание имеет особое «наполнение», предполагающее разъяснения, уточнения, а значит и особого рода оценочное отношение – «позицию» или угол зрения. По этой причине вопрос об отношении Достоевского к евреям в научном достоевсковедении, как никакой другой, сильно идеологизирован. При его рассмотрении необходимо обращать особое внимание на соблюдение «принцип Вебера»⁶, постулирующего обязательность строгого разграничения между исследованием фактов, с одной стороны, и оценочными суждениями – с другой. Именно такой подход и был выбран нами как методологическая основа для написания данной книги

Поскольку свое отношение к евреям, еврейству в целом и «еврейскому вопросу» в России в частности Достоевский высказывал лишь в письмах и публицистических статьях, его замечания долгое время привлекали внимание исключительно русских читателей, мыслителей и историков литературы. В СССР, начиная с 1930-х годов еврейская проблематика была полностью выведена из исследовательского поля научного достоевсковедения. На Западе же серьезный интерес к ней возник – во многом как результат симпатии к Достоевскому нацистов и трагедии Холокоста, в 70-х годах прошлого века. Начало полемическому дискурсу положил выход в свет англоязычной версии книги Дэвида Гольдштейна «Достоевский и евреи» [GOLDSTEIN] в 1981 г.

Поскольку тема отношения Ф.М. Достоевского к евреям и еврейству до сих пор является актуальной, авторами особое внимание уделено *истории вопроса*, ее аналитическому осмыслению и иллюстрации различных точек зрения.

Главы I–VIII настоящей книги полностью написаны Марком Уральским, главы IX–XI – филологом-славистом, профессором Генриеттой Мондри.

Авторы выражают свою искреннюю признательность профессорам Барри Шерру (Чикаго) и Анжею де Лазари (Познань), которые взяли на себя труд прочесть манускрипт и сделали

⁶ См. Вебер Макс. «Объективность» социально-научного и социально-политического познания: URL: <https://gtmarket.ru/laboratory/expertize/4919>

ценные замечания, а также Андрею Тесля (Калининград) и профессору Михаэлю Р. Катцу (Миддлбери) за их консультации по отдельным вопросам.

Глава I

Парадоксы и антиномии Федора Достоевского

В человеке могут ужиться с благородством всякие мерзости.
Н.Н. Страхов – Л.Н. Толстому,
26 ноября 1883 г.

Раз акты воли человека эмпирически обусловлены и необходимы, то человек за них ответственности не несет. Но поскольку нам кажется, что эти акты воли определены идеями разума, которые ничем не обусловлены, а являются «свободной причинностью», постольку мы возлагаем на человека ответственность за его поступки. На этой мнимой свободной причинности, на этом «кажется» основывается ответственность за поступки. Человек ни в чем не виноват, но нам кажется, что он виноват – потому-то он для нас и есть виноватый.

Голосовкер Я.Э.
Достоевский и Кант

Мой дорогой муж <...> представлял собою идеал человека! Все высшие нравственные и духовные качества, которые украшают человека, проявлялись в нем в самой высокой степени. Он был добр, великодушен, милосерд, справедлив, бескорыстен, деликатен, сострадатель – как никто!

Достоевская А.Г.
Воспоминания

Федор Михайлович Достоевский – самый противоречивый, выпадающий из репрезентативной галереи «великих русских писателей» классик. В первую очередь, это утверждение касается одного из знаковых качеств его художественной прозы – ее семантической *парадоксальности*. Парадокс⁷ в произведениях Достоевского, будь то роман, повесть или же очерк, выступает как *литературный прием*, посредством которого писатель вводит новые смысловые акценты, соединяя их с привычным для читателя «старым» содержанием. Противоречие (антиномия), содержащееся в парадоксе, актуализирует старое знание, «остраняет»⁸ новую идею и вовлекает читателя в орбиту сознания героя. Понятие *парадокса* и *парадоксального* впервые вводятся Достоевским в статье «Г-н – бов и вопрос об искусстве» (1861) для характеристики идей радикального критика Николая Добролюбова, которые, как он справедливо отмечал, «часто бывают парадоксальны», затем мы встречаем их в «Записках из Мертвого дома» (1862), «Записках из подполья» (1864) и, наконец, в главке «Парадоксалист» «Дневника писателя» за 1876 г. Его герои-парадоксалисты – это всегда мечтатели, которые живут в сфере мысли. Их парадокс – «приключения сознания»; т. о. они провоцируют читателя осознать собственную позицию по отношению к сфере идей, являющихся выражением их, как героев данного литературного произведения, сокровенных субъективных мнений⁹. Парадоксальность в частности – неперенный атрибут такого типа личности в человеческом общежи-

⁷ Парадокс – (от *греч.* paradoxos – неожиданный, странный):1) «изречение или суждение, резко расходящееся с общепринятым, традиционным мнением или (иногда только внешне) здравым смыслом»;2) противоречие, возникающее в логике событий, характеров героев, их поведения, высказываний и др.

⁸ Остранение – литературный приём, имеющий целью вывести читателя «из автоматизма восприятия». Термин введён литературоведом Виктором Шкловским в 1916 году.

⁹ [ЭР: ФМД]: URL: <https://fedordostoevsky.ru/research/aesthetics-poetics/177/>

тии, как *чуждак*. По убеждению Достоевского, которое он декларирует «От автора» в начале романа «Братья Карамазовы»:

чуждак «не всегда» частность и обособление, а напротив, бывает так, что он-то, пожалуй, и носит в себе иной раз сердцевину целого, а остальные люди его эпохи – все, каким-нибудь наплывным ветром, на время почему-то от него оторвались... [ДФМ-ПСС. Т. 14. С. 5].

В силу своей противоречивости, фантастичности, а подчас и нелепости парадоксальными выглядят многочисленные высказывания Достоевского в его письмах, черновых записях и полемических статьях «Дневника писателя». Касается это и обсуждавшейся Достоевским «еврейской темы», интерес к которой у него был не случайным, а идейно мотивированным.

*Парадокс, парадоксалист*¹⁰ и производные от них определения, столь часто прикладываемые Достоевским к сфере идей или форме умствования той или иной персоны, справедливы и в отношении его самого, как характеристики, которые, формируют взгляды и психофизический портрет его личности. В этом качестве они доминируют также в оценке биографии Достоевского и его художественной прозы – причем как со стороны современников, так и последующих поколений читателей, мыслителей и ученых-достоевсковедов [ЦАЦЕНКИНА], [ВОЛГИН], [До-ФМВП].

При анализе философских подтекстов в беллетристике Достоевского исследователи особо выделяют в них ситуации, в которых противоречащие друг другу высказывания об одном и том же объекте имеют логически равноправное обоснование, а от оценки их истинности или ложности автор уклоняется, как бы предоставляя это делать читателю. Но и читатель не в силах это сделать, поскольку каждое его умозаключение касательно такого рода сентенций приводит к взаимоисключающим выводам, которые нельзя отнести ни к истинным, ни к ложным. Таким образом, речь идет об *антиномиях*¹¹ – философских понятиях учения Иммануила Канта о неразрешимых противоречиях чистого разума, которые он развил в своем одноименном труде [КАНТ].

Знаком ли был Достоевский с «Критикой чистого разума» – с антиномиями Канта, или он вполне самостоятельно поставил те же вопросы, что и Кант, и независимо от доводов и противодоводов Канта ответил на них в романе «Братья Карамазовы»? На это ответ будет дан не антиномический. Достоевский не только был знаком с антитетикой¹² «Критики чистого разума», но и продумал ее¹³. Более того, отчасти сообразуясь с ней, он развивал свои доводы в драматических ситуациях романа. Более того, он сделал Канта, или вернее антитезис его антиномий, символом всего того, против чего он боролся (и в себе мыслитель. Более того, он сам вступил в поединок с Кантом-

¹⁰ Вот как определяет парадокс в своем знаменитом словаре В. Даль: «.. Мнение странное, на первый взгляд дикое, озадачивающее, противное общему».

¹¹ Антиномия (греческое словосочетание: ἀντινόμος – противоречие в законе; образовано от греческих слов: ἀντί – против и νόμος – закон). Антиномия, как логический прием, отличается от *противоречия*, возникшего в результате ошибки в рассуждении (доказательстве) или как следствие принятия ложных посылок; для ее устранения требуется более или менее значительное изменение всей используемой теории, либо ее логики, либо того и другого вместе [НФЭ].

¹² В «Критике чистого разума» Кант писал: под антитетикой я разумею не догматические утверждения противоположного, а противоречие между догматическими по виду знаниями (thesin cum antithesi), из которых ни одному нельзя отдать предпочтения перед другим. Следовательно, антитетика занимается вовсе не односторонними утверждениями, а рассматривает общие знания разума только с точки зрения противоречия их между собой и причин этого противоречия [КАНТ].

¹³ В одном из своих писем брату Михаилу Федор Достоевский просит его: Пришли мне <...> «Critique de raison pure» <фр., «Критика чистого разума»> Канта и если как-нибудь в состоянии мне переслать не официально, то пришли непременно Гегеля, в особенности Гегелеву «Историю философии». С этим вся моя будущность соединена! [ДФМ-ПСС. Т. 28. Кн. 1. С. 173].

антитезисом, не брезгая никаким оружием: ни сарказмом, ни риторикой, ни внушением, ни диалектической казуистикой, создавая в этой борьбе гениальные трагедии и фарсы, какими являются главы романа. Читателю незачем даже прибегать к изучению биографии писателя, чтобы убедиться в его знакомстве с Кантом. Текст романа и текст «Критики чистого разума» – здесь свидетели достоверные. Если полагать, что – по Канту, – речь в тезисе антиномий идет о «краеугольных камнях» морали и религии, а в антитезисе о «краеугольных камнях» науки, то о тех же «краеугольных камнях» идет речь и в романе. Стоит только вывести первые две антиномии из космологического плана науки и перевести все положения антиномий на язык морали и религии, чтобы полное совпадение стало очевидным [ГОЛОСКОВЕР С. 37–38], см. также [КАПЕЦ-ШИШХОВА].

Такого рода мыслительные конструкции в прозе Достоевского, имеющие отношения к еврейским персонажам, будут проанализированы отдельно в последней главе нашей книги. Когда же нас интересует не беллетристика, а публицистика Достоевского, главным образом его статьи по «еврейскому вопросу», то рассматриваемые тексты оказываются «плотнее» и проще. В отличие от художественных текстов, в них нет той многослойности, что позволяет говорить о глубинном или *герменевтическом* прочтении. Кроме того, горячая пафосность и провокативная актуальность публицистических текстов Достоевского – эта, образно говоря, «активная поверхность», закрывает и затрудняет проникновение вглубь, на те уровни его мысли, где антиномически сталкиваются и пересекаются самые разные *субъективные значения*. Известный русский мыслитель и литературный критик Федор Степун писал по этому поводу:

Достоевский был не только художником, но и очень страстным, горячим, на все отзывающимся публицистом <...>. Казалось бы, поэтому, что в публицистике Достоевского и надо искать его мирозерцание. Но <...> всякая публицистика, как форма творчества, не может, как бы талантлив не был публицист, дышать на той высоте, на которой дышит художественное произведение. Как не блестящ и умен «Дневник писателя», он все же не дает нам того, что дают «Идиот», «Бесы», «Подросток» и «Братья Карамазовы». Вражда к католицизму слышится, конечно, и в «Легенде о Великом инквизиторе», но это не помешало «Легенде» вырасти в одно из самых значительных художественных произведений, рядом с которым так неприятно кустарно звучат рассуждения о том, что коммунизм победит в Европе лишь тогда, когда свергнутый буржуазией со своего престола Папа возглавит коммунистическую революцию.

Не иначе обстоит дело и с национализмом Достоевского. Как ни ложно и опасно убеждение Шатова, что вера в сверхнационального Бога неизбежно ведет за собой духовную смерть народа, оно все же неизмеримо выше публицистического силлогизма: второе пришествие должно произойти в Палестине, но одновременно и в последней христианской стране Европы, которую «Царь небесный исходил, благословляя». Из этого следует, что Палестина должна стать нашей.

Этих двух примеров достаточно, чтобы убедиться в том, до чего опасно превращать публициста Достоевского в истолкователя его мирозерцания. На этом пути можно легко снизить и исказить его глубокие мысли [СТЕПУН].

Уже само происхождение Федора Достоевского по отцовской линии представляется – в свете манифестируемых им русского национализма, истового православия (sic!) и полонофобии – достаточно необычным для «корневого» русского человека. Отец будущего великого

русского писателя Михаил Андреевич Достоевский происходил из униатского духовенства. Ныне реконструировано генеалогическое древо рода Достоевских, согласно которому родоначальником фамилии

является Данило (Данилей) Иванович Иртищ (Ртищевич, Иртищевич, Артищевич), боярин Пинского князя Федора Ивановича Ярославича... 6 октября 1506 года князь Пинский... пожаловал своему боярину Даниле Ивановичу Иртищевичу несколько имений, в том числе “Достоев”, расположенный к северо-востоку от Пинска, между реками Пиной и Яцольдой, на границе бывшего Кобринского уезда [САРАСКИНА (II)].

С 1320 г. Пинск, как и все Полесье¹⁴ вошел в состав Великого княжества Литовского, а с 1569–1793 гг. входил в состав Речи Посполитой, после второго раздела которой отошел вместе со всей Восточной Польшей к Российской империи. Впоследствии шляхтичи Достоевские¹⁵ переселились в Малороссию, где перешли в духовное сословие. Михаил Андреевич Достоевский – отец будущего писателя, родился в Малороссии (село Войтовцы Подольской губернии) в семье священника-униата. В 1802 г. он был определен в православную духовную семинарию, а в 1809 г. отправлен, по окончании класса риторики, в московское отделение Медико-хирургической академии на казенное содержание. В августе 1812 г. Михаил Андреевич был командирован в военный госпиталь, с 1813 г. служил в Бородинском пехотном полку, в 1816 г. был удостоен звания штаб-лекаря, в 1819 г. переведен ординатором в Московский военный госпиталь, в январе 1821 г. после увольнения в декабре 1820 г. из военной службы, определен в Московскую больницу для бедных на должность «лекаря при отделении приходящих больных женск<ого> пола».

Таким образом, великий русский писатель Федор Михайлович Достоевский

был исторически молодым гражданином России. Только одно поколение отделяло его от предков, живших на территории соседнего государства, в перекрестье наречий и вер. Болезненно обостренное отношение к Польше, вдохновенная защита вселенской миссии православия, глубокое недоверие к намерениям римской курии... Все это, помимо прочего, могло быть еще и следствием «отказа от наследства» – тем более мучительного, чем глубже переплелись старые и новые корни... [ВОЛГИН (I). С. 43].

Хотя сам Достоевский явно не имел точного представления об истории своего рода, поляки, отбывавшие каторгу вместе с ним в Омском остроге, полагали, что демонстрируемая их товарищем по несчастью полонофобия, отчасти связана с его польским происхождением [ТОКАРЖЕВСКИЙ], [МАЛЫЦЕВ].

Мать Ф.М. Достоевского – Мария Федоровна (урожд. Нечаева; 1800–1837) являлась дочерью московского купца 3-й гильдии.

На Машу Нечаеву большое культурное влияние оказывала разночинная¹⁶ интеллигентная среда ее матери Варвары Михайловны Котельницкой, отец

¹⁴ Полесье – историко-культурная и физико-географическая область, расположенная на территории Полесской низменности; в настоящее время эта область находится на территории четырех современных государств: Беларуси, Польши, России и Украины. Общая площадь составляет около 130 тыс. км² [15].

¹⁵ Во всех польских гербовниках упоминается фамилия Достоевский, как относящаяся к представителям неродовитой литовской шляхты. Затем, с переходом в духовное сословие, шляхетство Достоевских было утеряно. Прадед и дед писателя по отцовской линии являлись униатскими священниками [ХРД].

¹⁶ Разночинцы («люди разного чина и звания») – юридически не вполне оформленная категория населения в Российской империи. Разночинцем называлось лицо, не принадлежащее ни к одному из установленных сословий: не приписанное ни к дворянству, ни к купечеству, ни к мещанам, ни к цеховым ремесленникам, ни к крестьянству, не имевшее личного дворянства или духовного сана. В повседневном обиходе к разночинцам в этом смысле относились выходцы из духовенства, купечества, мещанства, крестьянства, мелкого чиновничества. Значительную долю среди разночинцев составляли отставные солдаты и

которой служил корректором в Московской духовной типографии еще во времена знаменитого Н.И. Новикова. Во всяком случае Мария Федоровна была не чужда поэзии, любила музыку, да и сама была достаточно музыкальна, зачитывалась романами¹⁷.

Итак, будущий великий русский писатель родился в разночинной семье, имеющей потомственные – по отцовской линии, корневые связи с униатской церковью¹⁸ и приказавшей к тому времени долго жить Речью Посполитой. Достоевские стали дворянским родом, записанным в третью часть родословной книги московского потомственного дворянства только в 1828 г., когда Федору Михайловичу было неполных семь лет. Это позволило Достоевскому-отцу приобрести пару имений и, выйдя после кончины жены в отставку, стать в одном из них помещиком.

Знаменитые русские писатели, современники Достоевского, как правило, являли собой, говоря его словами, «продукт нашего барства», *gentilhomme russe et citoyen du monde*¹⁹ [ФМД-ПСС. Т. 21. С. 8], ибо все они – Дмитрий Григорович, Иван Тургенев, Иван Панаев, Алексей Писемский, граф Лев Толстой, Николай Некрасов, Федор Тютчев, Николай Лесков, Александр Герцен, Михаил Салтыков-Щедрин – были представителями родовитых дворянских семей. Деятели позднего славянофильского движения, которым симпатизировал Достоевский с конца 1850-х гг.,

были богатые русские помещики, просвещенные, гуманные, свобододолюбивые, но очень вкорененные в почву, очень связанные с бытом и ограниченные этим бытом. Этот бытовой характер славянофильства не мог не ослабить эсхатологической стороны их христианства. При всей вражде их к империи они еще чувствовали твердую почву под ногами и не предчувствовали грядущих катастроф [БЕРДЯЕВ (II)].

В обществе этих литераторов Федор Достоевский, происходивший из *разночинцев*, несомненно, чувствовал себя некомфортно. Худородность – по тем аристократическим временам, когда разночинная молодежь еще только начинала осваивать русскую литературную сцену, была болезненным для самолюбивого человека фактом его биографии. Сознание своей социальной незначительности – один из психологических парадоксов личности Достоевского. Скорее всего именно это обстоятельство явилось в молодости причиной застенчивости и сопутствующей ей чрезмерной амбициозности молодого писателя. Когда:

Из убогой обстановки Марьинской больницы, из замкнутого мирка Инженерного замка, из бедности и неизвестности, болезненно-самолюбивый литератор вдруг попадает в «высший свет» [МОЧУЛЬСКИЙ. С. 378],

– он буквально опьянен очарованием своих новых друзей. С каким, например, пиететом молодой Достоевский описывает свою первую встречу с Тургеневым:

солдатские дети.

¹⁷ [ЭР: ФМД]: URL: https://fedordostoevsky.ru/around/Dostoevskaya_M_F/

¹⁸ Русская униатская церковь также Митрополия Киевская, Галицкая и всяя Руси – поместная католическая церковь греческого обряда, образованная в Речи Посполитой в результате Брестской унии (1596). В богослужении используется церковнославянский и западнорусский письменный язык. Находится в подчинении Папы Римского. Ко времени разделов Речи Посполитой Русская униатская церковь насчитывала 9300 приходов, 10 300 священников и 4,5 миллионов прихожан (тогда как всё население Речи Посполитой составляло 12,3 миллионов человек. Кроме того, униатской церкви принадлежало 172 монастыря с 1458 монахами. В Российской империи царское правительство рассматривало униатов как православных, которые под давлением приняли юрисдикцию Папы, и которых под любым предлогом следует вновь включить в состав русской православной церкви. Проводилась жесточайшая политика насильственного перевода униатских приходов в православные, в результате которой после 1875 г. униатство в России и Царстве Польском было полностью ликвидировано.

¹⁹ русский дворянин и гражданин мира (*фр.*)

Но, брат, что это за человек! Я тоже едва ль не влюбился в него. Поэт, талант, красавец, богач, умен, образован, 25 лет – я не знаю, в чем природа отказала ему [ФМД-ПСС. Т. 28. С. 115].

Примечательно, что именно богатство и аристократизм Тургенева поражают малообеспеченного разночинца Достоевского²⁰ в первую очередь. Как начинающий литератор он вдохновлен тем, что его дарование может открыть ему двери в избранные литературные салоны, приобщить к культурной элите. Разочарование, последовавшее за этим, общеизвестно. Достоевскому пришлось жестоко поплатиться за наивную веру в то, что ум и талант позволят обеспечить разночинному литератору почетное место в тогдашнем аристократическом по своему статусному состоянию русском литературном сообществе. Как уже отмечалось, он быстро стал предметом насмешек со стороны собратьев по перу. И если Белинский и Некрасов исходили из чисто человеческого неприятия заносчивости Достоевского, которую он демонстрировал в обществе, то высокомерная ирония Тургенева, Панаева, Сологуба включала в себя, несомненно, еще и сословную неприязнь литературной аристократии к разночинцу, вознамерившемуся занять равноправное с ними положение на российском литературном Олимпе. Урок был жестоким и Достоевский запомнил его на всю жизнь, компенсируя в зрелые годы, когда он уже «достиг апогея своей славы, – славы, может быть, не вполне хвalebной, но очень громкой всероссийской»²¹, свои бывшие унижения жесткой критикой «помещичьей литературы» – см., например, его письмо Н. Страхову от 18/30 мая 1871 г. [ФМД-ПСС. Т.29. С. 216], и злейшей пародией на Тургенева в своем романе «Бесы».

В социально-историческом плане важно отметить, что в то время как Толстой был аристократом и (единственный из своих литературных современников) был культурно укоренен во французской цивилизации и в XVIII-вековой цивилизации русского дворянства, Достоевский был плебеем и демократом до мозга костей. Он принадлежал к той же исторической и общественной формации, что создала Белинского, Некрасова и Григорьева, и отсюда идет, среди прочего, отсутствие всякой грации, всякого изящества, внешнего и внутреннего, характерное для всего его творчества, вместе с отсутствием сдержанности, дисциплины, достоинства и патологическим избытком застенчивости и неловкости²².

Самым парадоксальным образом в его душе плебейская неприязнь к русским барам из числа своих собратьев по литературному ремеслу:

Писатели-аристократы, писатели-проприетеры. Лев Толстой и Тургенев – проприетеры²³ (1876) [ФМД-ПСС. Т. 245. С. 99].

– одновременно уживалась с тягой к аристократии и мечтой стать помещиком: только ранняя смерть помешала Достоевскому приобрести имение! Пафос Достоевского еще и антиномичен, т. к. из уничижительного в его устах замечания «проприетеры», следует, что эти его коллеги в своем творчестве *свободные люди*, т. к. материально не зависят от работодателей – редакторов, владельцев журналов и издательств, а он сам, по сути, – «пролетарий литератур-

²⁰ В письме брату Михаилу, посланном 16 августа 1839 г., сразу же после получения известия о кончине их отца Федор Достоевский пишет: «... Теперь состояние наше еще ужаснее; не про себя говорю я, но про семейство наше. <...> есть ли в мире несчастнее наших бедных братьев и сестер?» [ФМД-ПСС. Т. 28. Кн. 1. С. 62].

²¹ Коломенский Кандид. Автор «Переписки с друзьями», воскресший в г. Достоевском // «Новости» (Биржевая газета). 1880. № 219 (19 августа).

²² Святополк-Мирский Д.П. Достоевский (после 1849 г.): [ЭР: Ф-МД]: URL: <http://dostoevskiy-lit.ru/dostoevskiy/kritika/svyatopolk-mirskij-dostoevskij-posle-1849.htm>

²³ Проприетер (от фр. Propriétaire) – хозяин, собственник, господин, барин.

ного труда». Здесь явно борются между собой плебейский гонор и бытийная горечь человека подневольного труда. Для правильной оценки материального положения русских литераторов следует учитывать, что

до середины 1890-х гг. писатели (за немногими исключениями) с трудом обеспечивали себе прожиточный минимум. Как правило, достаточно зарабатывали только литераторы, которым удалось стать редакторами или постоянными сотрудниками журнала или газеты, регулярно получающими жалованье и имеющими гарантированный сбыт своей литературной продукции. Приведем несколько примеров. Н.Г. Чернышевский и Н.А. Добролюбов за редакционную работу в «Современнике» получали в начале 1860-х гг. по 5–6 тыс. р. в год, <...> соредакторы «Отечественных записок» (М.Е. Салтыков-Щедрин, <...> и Н.К. Михайловский) в начале 1880-х г. только за редактуру (не считая гонораров за публикации) – около 10 тыс. р. в год каждый; <...> редактор «Гражданина» Ф.М. Достоевский – 3 тыс. р. в год; А.С. Суворин в 1872 г., работая публицистом и фельетонистом в «Санкт-Петербургских ведомостях», – 4,5 тыс. р. в год и т. п. Авторы, не входившие в состав редакций периодических изданий, зарабатывали меньше. Даже И.С. Тургенев, чьи произведения оплачивались по максимальной ставке, получал за год 4 тыс. р., Н.С. Лесков – 2 тыс. р., А.П. Чехов в конце 1880-х и в 1890-х гг. – 3,5–4 тыс. р. И.А. Гончаров считал (еще в 1858 г.), что женатому человеку «в Петербурге надо получать не менее двух тысяч руб. серебром, чтобы жить безбедно» (Достоевские, например, издерживали в год более 3 тыс. р.), однако средние профессиональные литераторы зарабатывали за год не более 1–1,5 тыс. рублей. Это означает, что писатель, получающий по ставкам 1870-1880-х гг. 60 р. за печатный лист, должен был написать за год 20 печ. л. (то есть целую книгу), чтобы заработать 1200 р.²³² Если учесть, что часть его текстов могла не попасть в печать из-за внутриредакционных или цензурных причин, то реально ему приходилось писать еще больше, не говоря уже о том, что периодические издания нередко затягивали выплату гонорара. Для сравнения укажем, что в описываемый период столоначальник (чиновник среднего ранга) получал в год более 1500 р., старший учитель в гимназии – более 1000 р., даже земские врачи и статистики – 1000–1200 р. Невысокие гонорары беллетристов в России можно объяснить тем фактом, что социальная потребность в отечественной литературе была не очень сильной: одни (более 80 % населения) вообще не читали, другие читали иностранную книгу в подлиннике, третьи – в переводе. Читатели русской книги (интеллигенция, чиновничество, купечество, мелкое и среднее провинциальное дворянство) были немногочисленны и не очень платежеспособны. Поскольку беллетристу, исходя из существовавших ставок, трудно было заработать себе на жизнь, он был обречен на многописание и спешку. <...> Н.С. Лесков писал: «В России литературою деньги добываются трудно, и кому надо много – тому приходится и писать много <...>». И даже о периоде конца XIX в. Вас. И. Немирович-Данченко вспоминал в таких выражениях: «Нам, литературному пролетариату, время – деньги, и уж очень-то щедро тратить его не приходилось. Случалось продавать самые дорогие сердцу авторскому произведения на корню, и наша совесть маячила, потому что работалось впроголодь и впрохолодь. Да еще на каждый наш рубль десяток ртов было разинуто» [РЕЙТБЛАТ].

Достоевский жил исключительно литературным трудом (sic!): величина его максимальной гонорарной ставки составляла 125 (1860-е гг.) – 250 (1870-е гг.) рублей печ. лист, тогда как у коллег-проприеторов – Тургенева и Льва Толстого, 300600 рублей печ. лист, соответственно [РЕЙТБЛАТ]²⁴. Достоевский же только в 1880 г. за «Братьев Карамазовых» стал получать у прижимистого Каткова²⁵ по 300 рублей за лист.

Ещё в 1877 году Достоевский писал жене: «Мне <он> 250 р. не могли сразу решиться дать, а Л. Толстому 500 заплатили с готовностью! <за «Анну Каренину»>. Нет, уж слишком меня низко ценят, а оттого что работой живу» [ДФМ-ПСС. Т. 30. Кн. I. С. 67]. Очевидно, этот вопрос поднимался Достоевским и раньше. В неопубликованном письме к нему (от 4 мая 1874 года) Н.А. Любимов, говоря о своём и Каткова желании, чтобы Достоевский сохранил связь с «Русским вестником» и на будущее время, как было до сих пор, обещает разрешить денежный вопрос удовлетворительным для автора образом: «Если бы было возможно, сохранив номинальный гонорарий, <...> прибавить Вам круглую сумму столько, чтобы общее получение соответствовало Вашему желанию, то дело уладилось бы <...> Необходимо только это прибавление сохранить в тайне между нами». Боясь, чтобы подобная прибавка «не обратилась бы в общее правило», Любимов <Н.А.>, по сути дела, предлагает Достоевскому негласную сделку, довольно для того унижительную [ВОЛГИН (II). С. 320].

Всю свою жизнь Федор Достоевский, будучи ко всем своим обременительным в материальном отношении семейным проблемам еще и азартным неудачливым игроком, постоянно нуждался в деньгах, а значит – опять-таки зависел от щедрот сильных мира сего. В профессионально-бытовом плане он, как беллетрист, оставался обреченным «на многописание и спешку», а на стезе общественно-политической публицистики являлся, конечно, «не продажным писакой», но, несомненно, сугубо ангажированным властью имущими литератором. Его охранительская риторика, ура-патриотизм и монархизм во многом определялись требованиями вельможного «социального заказа»²⁶, по сути, он стал к концу жизни, так сказать «идейным рупором и символом» царского правительства. На сей счет имеется такой, например, интересный мемуарный сюжет, записанный со слов близкого друга семьи Достоевских поэта Алексея Плещеева:

Н.М. Безобразов, по распоряжению графа Лорис-Меликова, тотчас же после смерти писателя, ездил к вдове его выразить соболезнование и пожелание, чтобы похороны происходили на государственный счет. Вдова писателя, по словам Безобразова, возмутилась и категорически протестовала против этого. Безобразов уговаривал ее, прося исполнить желание графа Лорис-Меликова, со свойственным ему умом и тактом желавшего показать

²⁴ Самым высокооплачиваемым писателем второй половины XIX в. являлся Л.Н. Толстой, в 1890-х гг. он получал по 1000 руб. за один печатный лист [РЕЙТБЛАТ].

²⁵ Отношение Каткова к Достоевскому всегда носило «покровительственный» характер, в то время как перед графом Львом Толстым этот сановный издатель явно тушевался. В «Яснополянских записках» отмечен, например, такой вот эпизод: На днях говорил о Каткове: <...> Л.Н. рассказывал, что Катков в разговоре с ним (Л.Н.) мялся, не оканчивал предложений, говорил застенчиво, неопределенно. Не знаю, со всеми ли так, – сказал Л.Н. [МАКОВИЦКИЙ. Т. I. С. 274].

²⁶ Три великих русских писателя могут быть отнесены к разряду «ангажированных», поскольку отрабатывали социальный заказ российских правителей – это Пушкин, Достоевский и Максим Горький. Примечательно, что все они в молодости заявляли себя как «бунтари» и подвергались репрессиям со стороны правительства (ссылка, каторга, изгнание), а в зрелые годы становились «охранителями». Отметим здесь также как несомненный биографический *парадокс*, что полицейский надзор над Достоевским был снят лишь незадолго до его смерти (sic!), в 1876 г., см. об этом: Коган Г. Достоевский в документах 3 Отделения в [ЛН. Т. 86. С. 596–605].

обществу, как правительство относилось к Достоевскому. Правительство, как говорили тогда, дипломатично желало использовать кончину Достоевского как симпатичный жест со своей стороны по адресу общественности. Чем все это кончилось – мне неизвестно [ПЛЕЩЕЕВ].

При всем этом существует общее мнение, что в своем верно-падданическом рвении Достоевский отнюдь не угодничал, а был совершенно искренен:

Чему он верил, он верил со страстью, он весь отдавался своим мыслям; чего он не признавал, то он часто ненавидел. Он был последователен и, раз вышедши на известный путь, мог воротиться с него только после тяжелой, упорной борьбы и нравственной ломки²⁷.

Высказывается также предположение, что, являясь ангажированным писателем, Достоевский вместе с тем

предпринял последнюю в русской литературе попытку осуществить «идейное опекунство» над властью. Но почему сама тенденция оказалась столь живучей? Русское самодержавие, как это ни странно, на протяжении веков так и не выработало своей собственной, адекватной себе и закреплённой «литературно» идеологии. Оно строит свою моральную деятельность на традиции и предании, на силе исторической инерции или, в лучшем случае, на эффектных формулах вроде уваровской²⁸. Как историческая данность оно вовсе не совпадает с тем, что «предлагали» ему – в разное время – <...> Карамзин, Пушкин, Гоголь и Достоевский. В момент кризиса (а именно такой момент имеет место в 1880 году) могло казаться, что в силу собственной «безыдейности» власть примет и санкционирует одну из предлагаемых ей «чужих» идеологических доктрин. И славянофилы вроде Ивана Аксакова, и либералы «тургеневского» типа могли надеяться (и надеялись), что выбор падёт именно на них. Мог надеяться на это и Достоевский. Он предлагает свою собственную «подстановку». Но всерьёз принять идеалы Достоевского, высказанные им в частности в > Пушкинской речи, означало бы для самодержавия изменить свою собственную историческую природу [ВОЛГИН (П). С. 363]²⁹.

Однако сановная элита и не собиралась опираться в своей практике на проекты Достоевского. Для нее он был не политик, а, что называется, «политический мыслитель». В этом качестве Достоевский оперировал представлениями, по большей части являвшимися плодами его богатой писательской фантазии, а его футуристические идеи носили чисто визионерский характер. Поэтому никакого влияния на государственную политику Достоевский не оказывал и, пребывая в мире своего артистического воображения, не мог оказывать.

Успешную «попытку осуществить “идейное опекунство” над властью» реализовали в эпоху царствования Александра III друзья-покровители Достоевского – политики из консервативно-охранительного лагеря, такие, в частности, как Катков³⁰, кн. Мещерский и Победоносцев. Для придания особого идейного содержания своим политическим амбициям они умело

²⁷ Выдержка из некролога на смерть Достоевского в либерально-демократической газете «Молва» (СПб.), 1881. № 31 [ГРОССМАН Л. (П). С. 24]

²⁸ Имеется в виду: «Самодержавие, православие, народность».

²⁹ В свете этого утверждения напомним, как опять-таки парадокс, что еще за 6 лет до смерти – вплоть до середины 1875 г., Достоевский находился под негласным полицейским надзором.

³⁰ Примечательно, что по утверждению Льва Толстого в молодые годы: «Катков был даровитый, образованный, передовой человек <...> из кружка Герцена» [МАКОВИЦКИЙ. Т. 1. С. 274].

использовали и гениальное перо Достоевского-публициста, и его имидж «христианского мыслителя». Катков, например, щедро оплачивает его наиболее резонансное публицистическое выступление – знаменитую Пушкинскую речь, немало не смущаясь несовпадением ряда выказанных в ней концептуальных идей с пропагандируемым им и Победоносцевым политическим курсом³¹. Для его партии эта речь Достоевского была нужна

только как временное подспорье, как идущая в руки карта в их тактической игре. <А вот сам Достоевский> нужен Победоносцеву и нужен Каткову. Он – их формальный союзник, единственная серьезная литературная сила с их стороны. Они ни в коем случае не желают обострять разномыслие. <...> Появление Речи в газете Каткова воспринималось как политический жест, как акт идейной солидарности. <...>

Охранительная пресса настойчиво сопрягает <их> имена [ВОЛГИН (II). С. 364, 363 и 725].

Естественно, что как писатель Достоевский завидовал творческой свободе и финансовой независимости собратьев по перу из числа проприеторов. Об этом, в частности, свидетельствует Всеволод Соловьев:

Скажите мне, скажите прямо – как вы думаете: завидую ли я Льву Толстому? <...> обвиняют в зависти... И кто же? старые друзья, которые знают меня лет двадцать... <...> Эта мысль так в них засела, что они даже не могут скрыть ее – проговариваются в каждом слове. <...> И знаете ли, ведь я действительно завидую, но только не так, о, совсем не так, как они думают! Я завидую его обстоятельствам, и именно вот теперь... Мне тяжело так работать, как я работаю, тяжело спешить... Господи, и всю-то жизнь!.. <...> Я не говорю об этом никогда, не признаюсь; но это меня очень мучит. Ну, а он обеспечен, ему нечего о завтрашнем дне думать, он может отделять каждую свою вещь, а это большая штука – когда вещь полежит уже готовая и потом перечтешь ее и исправишь. Вот и завидую... завидую, голубчик! [СОЛОВЬЕВ Вс. С.].

В свете вышеприведенного свидетельства Вс. Соловьева особо интересна запись Достоевского в «Рабочих тетрадях 1875/1877 гг.» [ФМД-ПСС.Т. 24. С. 109–110], касающаяся сатирической поэмы Д.М. Аверкиева³² – популярного в то время литератора, сотрудничавшего когда-то с его журналом «Эпоха». В частности, писатель выделяет в ней «Два чрезвычайно странных стиха»:

У нас сейчас есть Лев Толстой
Сей Лев породы царской³³,

– определяя их как «чрезвычайно глупые» и полагая восхваление гр. Толстого в той форме, что использовал для них его бывший сотрудник и единомышленник³⁴, отнюдь не

³¹ Константин Леонтьев сообщал В.В. Розанову: «Катков заплатил ему за эту речь 600 р., но за глаза смеялся, говоря: “какое же это событие”» [ИзПерК.Н.Л.].

³² Поэма Аверкиева «Тоска по родине» была опубликована в журнале «Русский вестник». 1875. № 12.

³³ По своему происхождению Лев Толстой принадлежал к одной из самых древних и именитых дворянских фамилий Российской империи.

³⁴ Положение Аверкиева в литературе было сложным и противоречивым. В идейной борьбе 60-х гг. он выступал как ожесточенный противник революционных демократов, находясь сам на позициях, близких почвенничеству. Но в почвенничестве он скорее представляет консервативное течение, оставаясь далеким от свойственного Достоевскому радикализма с его ярким социальным критицизмом. Нескрываемый политический консерватизм Аверкиева сделал его предметом резких насмешек передовой печати (Д.И. Писарев «Прогулка по садам российской словесности»; М.Е. Салтыков-Щедрин «История одного города», «Современная идиллия»). Заслуженная Аверкиевым-публицистом репутация реакционера современниками

«рекламой», а «наивностью». Свои рассуждения о ляпсусе Аверкиева Достоевский заканчивает парадоксальным высказыванием:

Граф Лев Толстой – конфетный талант и всем по плечу,

– не сопровождая его каким-либо комментарием. Можно полагать, что таким образом Достоевский, обладавший, как литератор, незаурядным чувством юмора, маскирует свое раздражение восхвалением собрата по перу – пусть и в форме «чрезвычайно глупого стиха», придумывая другую «типовую глупость». Тем самым он явно пародирует бытовавшую со времен Гомера в критике манеру хамски-оскорбительного подтрунивания над писателями³⁵. Как ни парадоксально, но именно Виктор Буренин, ставший на русской литературной сцене символом «беспардонного зоила» и «охотника до журнальной драки», пользовался симпатией Достоевского³⁶. Писатель дорожил его мнением о своих произведениях и поддерживал с ним личные отношения. Об этом, в частности, свидетельствуют слова А.Г. Достоевской в ее письме Буренину от 15 мая 1888 г.:

Покойный муж мой так уважал Вас; он ценил Ваши отзывы о нем и находил, что Вы, из всех писавших о нем, наиболее понимали его мысли и намерения...³⁷.

В свете этого заявления не иначе как *парадоксальной* нельзя не охарактеризовать статью Буренина в «С.-Петербургских ведомостях» (1873. 20 янв. № 20), в которой он крайне уничижительно отзывался о Достоевском публицисте, философе, моралисте (см. Гл. II), и то обстоятельство, что писатель, обычно болезненно реагирующий на литературную критику, в этом случае предпочел промолчать³⁸. Здесь же отметим, что Виктор Буренин в отличие от друживших с Достоевским поэтов – Плещеева, Майкова и Полонского, на смерть писателя откликнулся стихотворением «У гроба Ф.М. Достоевского» («Новое время». 1881. № 1771).

Что же касается до самого определения «великого дарования» гр. Толстого – «конфетный талант», то это характерный для Достоевского гротескный – до смешного в силу своей нелепости, литературный прием. Используя его, писатель мастерски «куснул» и коллегу-проприетера, то бишь «Льва породы царской», и, одновременно, постоянно досаждавших и его самых литературных зоилов. Не вдаваясь в тонкости очень сложных, противоречивых отношений Достоевского и Толстого друг к другу, где немалую роль играли как свойственная писателям тщеславная «ревнивость», так и обоюдные претензии на «истину в последней инстанции», отметим, что в своей публицистике Достоевский выказывал в отношении собрата по перу исключительный пиетет. Так, например, в самом «Дневнике писателя» за тот же 1877 год (Глава вторая. IV. Русская сатира. «Новь», «Последние песни». Старые воспоминания) имеется такое высказывание:

Граф Лев Толстой, без сомнения, любимейший писатель русской публики всех оттенков [ФМД-ПСС. Т. 25. С. 27].

Подспудная неприязнь Достоевского к Толстому являлась опять-таки следствием уязвленного самолюбия: и из-за несправедливой, как ему представлялось, оплаты литературного

писателя, а позднее и историками литературы распространялась на его литературную деятельность в целом и сделала его имя одиозным, см. [НЕКР. В.Н.].

³⁵ Об этом же идет речь в следующем четверостишии поэмы Д. Аверкиева: Ни одного мы не найдем / Из старых и из новых, / Кто б не был руган дураком / От критиков суровых.

³⁶ Буренина ценил и Лев Толстой, тогда как Николай Лесков и Иван Гончаров 1880-х гг. видели в нем «бесцеремонного циника», «который только и выискивает, чем бы человека обидеть, приписав ему что-нибудь пошлое». Такого же мнения о нем придерживался и П.И. Чайковский, написавший, однако же, на буренинское либретто свою оперу «Мазепа».

³⁷ [ЭР]: URL: https://fedordostoevsky.ru/around/Burenin_V_P/

³⁸ Буренину принадлежат также стихотворные сатиры на Достоевского: Призраки; «Я прежде был игрив и светел...»; «Ах, зачем я читал «Время»...», – см. [ЭПИС].

труда, низводящей его на «средний» уровень в рейтинге русских писателей, и из-за попадание в мощное поле толстовского притяжения самых близких его друзей-единомышленников – Николая Страхова, Аполлона Майкова и Якова Полонского:

Страхов³⁹ становится фанатическим поклонником Толстого и изменяет старой дружбе с автором «Бесов». Он и Майков до смешного восторженно говорят о новом произведении их кумира – «Анне Карениной». Огромная фигура Толстого преграждает литературный путь Достоевского, как некогда преграждала его фигура Тургенева [МОЧУЛЬСКИЙ. С. 408].

Возвращаясь к теме «происхождение», особо подчеркнем то обстоятельство, что, в публичной сфере Достоевский особо педалировал традиционалистский характер своего воспитания в отчем доме. Так, например, в «Дневнике писателя» за 1873 г. он писал о себе:

Я происходил из семейства русского и благочестивого. С тех пор как я себя помню, я помню любовь ко мне родителей. Мы в семействе нашем знали Евангелие чуть не с первого детства <...>. Каждый раз посещение Кремля и соборов московских было для меня чем-то торжественным [ФМД-ПСС. Т. 21. С. 134].

В этом заявлении ясно прочитывается вызов в сторону оппонентов и язвительных обидчиков из литературного сообщества: вы, мол-де, аристократы, от рождения не имеете «национального лица», а я-то хоть из простых, да «всегда был истинно русский»⁴⁰, плоть от плоти – «корневой», сын русского народа⁴¹. В этом качестве он заявлял себя и в кругах сановой бюрократии, и в Высшем свете, и при Дворе⁴².

Достоевский дважды приобщался к ходу современной политики: в начале и в конце своего литературного пути. Если в 40-е годы он принимает заметное участие в кружках русских фурьеристов и даже оказывается замешанным в революционную пропаганду петрашевцев, <...> то в последнюю эпоху своей биографии <он> входит в среду государственных деятелей царской России и в согласии с общим направлением петербургских правительственных кругов ведет свою публицистику и заостряет идеологически свои художественные произведения. В беседах с представителями династии, в общении с министрами, в очередных выпусках «Дневника писателя», наконец, в своих общественных романах Достоевский становится своеобразной и крупной политической силой: активным деятелем момента он вырабатывает общие философские идеи, во имя которых возможно проведение той или иной практической меры. Под деловые задачи текущей государственности он подводит широкие исторические принципы и обобщающие политические гипотезы о всеславянском единении, о призвании русских в Азии и на Босфоре, о святости войны, о цивилизаторской миссии России на Ближнем Востоке. Он как бы вменяет себе в задание

³⁹ Н.Н. Страхов аттестуется, например, как «близкий друг и консультант по философии и общественной мысли Федора Достоевского и Льва Толстого, “крестный отец” Василия Розанова (по словам самого Розанова). <...> в конце XIX в. <его> почитали в России одним из важнейших авторитетов в философии» [ЛАЗАРИ. С. 15–16]. Более подробно о нем см. в Гл. V.

⁴⁰ См. письмо А.Ф. Достоевский – А. Майкову от 18 января 1856 г. [ФМД-ПСС. Т. 28. С. 206].

⁴¹ В отличие от «славянофилов» и «западников» 1840-х гг., в большинстве своем представители родовитого дворянства, Достоевский и его ближайшее окружение – выразители идеи «почвенничества», являлись, простолюдинами-разночинцами по происхождению: Достоевский доискивался своего дворянства, незаконнорожденный Григорьев дворянства не унаследовал, Страхов вообще не притязал на таковое (все они дворяне по образованию) [ЛАЗАРИ. С. 13].

⁴² В этих кругах с 30-х – 50-х гг. XIX в. оформилось «коллективистское» мировоззрение, вошедшее в русскую историю под названием «официальной народности», – см. об этом в Гл. V.

привести отвлеченную мысль на службу царизму и укрепить его верховное влияние своим авторитетным словом знаменитого писателя. Это та особая «политика идей», которая часто как бы парит над фактами и делами, не вникая в детали и не занимаясь проблемами осуществлений, но обобщая патриотические предания и маскируя исторической философией программу и практику правящих кругов. Свойственная биографии Достоевского контрастность эпох и моментов с особенной силой сказалась под конец его жизненного пути. Участник социалистического кружка 40-х годов, где обсуждались вопросы о цареубийстве, об истреблении всей царской фамилии и всего высшего правительства, Достоевский в 70-е годы входит в придворные круги и находится в близких отношениях с виднейшими представителями царствующего дома. Малоизвестный эпизод его духовного руководства младшими великими князьями, его знакомство с братом царя генерал-адмиралом Константином Николаевичем, его дружба с молодым Константином Романовым и, наконец, непосредственное общение с наследником престола и «государыней-цесаревной» завершают целую полосу его идейных и личных сближений с такими деятелями эпохи Александра II, как К.П. Победоносцев, Третий Филиппов и М.Н. Катков. В третьем поколении царизм, приговоривший в 1849 г. Достоевского к расстрелу и каторге, не только снимает с него всякие подозрения в оппозиционном образе мыслей, но возводит его в степень выразителя своих основоположных воззрений и предначертаний. Внуки Николая I относятся к Достоевскому с почтительнейшим вниманием, стремясь сберечь для своего политического дела такого крупного и влиятельного союзника, как известнейший из писателей старшей плеяды русских романистов. Недаром на другое утро после смерти Достоевского, 29 января 1881 г., наследник пишет К.П. Победоносцеву: «...очень и очень сожалею о смерти бедного Достоевского, это большая потеря и положительно никто его не заменит».

Близость к верховной власти широко раскрывает перед Достоевским и замкнутые круги столичной аристократии. Никогда не принадлежавший ни по своему происхождению, ни по профессии, ни по сложившемуся быту к высшему дворянству, Достоевский под конец жизни преимущественно вращается в этом кругу, стремясь стать выразителем его социально-политических воззрений. В качестве редактора «Гражданина» он сближается с рядом крупных правительственных деятелей, сотрудничающих в органе Мещерского и участвующих в политических салонах столицы. Отдел «Гражданина» – «Еженедельная хроника», являясь преимущественно обзором великосветской и правительственной жизни в духе известных обзоров французской газеты «Фигаро», в свою очередь приближал Достоевского к высокопоставленному Петербургу. Здесь постоянно назывались имена представителей этого мира, среди которых мы встречаем ряд фамилий будущих титулованных корреспондентов Достоевского. Если в начале 70-х годов Достоевский сближается с государственными публицистами, конец десятилетия ознаменован его непосредственным общением с высшими представителями власти и знати. Верный своим сложившимся политическим убеждениям и принятой им в последнюю эпоху общественной программе, Достоевский сближается в свои последние годы с обширными слоями петербургского света, сословные и государственные интересы которого он считает себя призванным защищать. <...> И как многие случайные и спорные

представители господствующего класса, Достоевский чрезвычайно дорожил своей принадлежностью к нему; <...> по свидетельству его дочери: «Отец мой высоко ставил свое дворянское звание, и перед смертью просил мою мать внести нас, детей, в ту же книгу, что ею и было исполнено» (речь идет о книге московского дворянства, в которую был записан Достоевский).

Так отчетливо определял сам писатель свою классовую природу, словно отводя от себя будущую тенденцию исследователей относить его к «мелкому мещанству». И действительно, сын мелкопоместного дворянина, владевшего имением в Тульской губернии, Достоевский и сам оставался всю свою жизнь бедным дворянином, тоскующим в капиталистическом городе по усадебному быту, страстно мечтающим о большом поместье, чтоб выйти из материального и сословного упадка и слиться наконец с крупным дворянством. К концу жизни цель эта была им в значительной степени достигнута. Он умирает среди забот о приобретении имения, накануне получения по наследству земельного владения, войдя в придворные круги и лично общаясь с представителями царствующего дома. Но все это уже не в состоянии изменить его прочно установившейся сословной психологии и социального характера. Несмотря на столь успешное материальное и общественное восхождение, Достоевский по своему внутреннему облику остается до конца «бедным рыцарем», убогим потомком литовских маршалов, мелким российским дворянином.

Под конец жизни выраженное сословное самосознание писателя заметно сказывается на его личных связях. Сравнительно мало общаясь с литературным Петербургом конца 70-х годов, Достоевский преимущественно возвращается в эту эпоху в кругах петербургской знати, весьма сочувственно принимающей знаменитого романиста в свою неприступную среду. Великосветские верхи столицы, круг придворной или служилой олигархии – вот человеческое окружение его старости. В конце 70-х годов Достоевский постоянно общается с гр. С.А. Толстой (вдовой поэта Алексея Константиновича), с Е.А. Нарышкиной, гр. А.Е. Комаровской, женой начальника Главного управления по делам печати Ю.Ф. Абазы, с княгиней Волконской, женою видного дипломата С.П. Хитрово, с бывшим попечителем Виленского учебного округа И.П. Корниловым, со славянофильствующим генералом Черняевым, будущим министром финансов И.А. Вышнеградским, дочерью дворцового архитектора Е.А. Штакеншнейдер, с председательницей Георгиевской общины графиней Е.А. Гейден, председательницей Общества ночлежных приютов Ю.Д. Засецкой и пр. Некоторые либеральные знакомства допускаются лишь в том же кругу, как например с А.П. Филосовой или А.Ф. Кони⁴³. Так создавался в последние годы его жизни особый «Петербург Достоевского», уже ничем не напоминающий нищие кварталы, отраженные в его ранних повестях и первом большом романе. Произошла резкая перестановка декораций и в плане его политической жизни. Скромная обстановка его молодых выступлений в бедных кварталах столицы сменилась теперь парадным фоном царской резиденции. Покосившийся деревянный домик в Старой Коломне с чадающим ночником и разодранным диваном, где учился социализму и проповедовал молодой Достоевский, уступил место залам Мраморного дворца и приемным палатам Аничкова и Зимнего. Последняя глава биографии Достоевского приобретает от этого столь

⁴³ Подробно обо всех этих лицах см. на сайте [ЭР: ФМД]: URL: [https:// fedordostoevsky.ru](https://fedordostoevsky.ru)

несвойственный всей его бродячей, каторжной и трудовой жизни пышный и торжественный колорит, что сам писатель скрывал от своей исконной литературной среды этот неожиданный поворот судьбы, приведший его от каторжных и солдатских казарм, игорных домов и редакций в гостиные Растрелли и Ринальди, где певцу униженных и оскорбленных благосклонно внимали теперь высшие представители династического и сановного мира империи [ГРОССМАН Л. (II). С. 10–15].

Человек, манифестировавший, что он плоть от плоти «народа», в набросках к роману «Бесы» «намечает образ одного из главных положительных героев как “новую форму боярина”» [ФМД-ПСС.Т. 12. С.117]. Однако здесь стоит помнить, что, вопреки процветающему в современной России апологетическому, лишенному даже следов критического анализа достоевсковедению,

великий мастер романа Достоевский вообще не может быть признан непогрешимым. Напротив, своеобразнейшая черта его дарование – это право на ошибку, обеспечивающее ему свободу, непосредственность и горячность его художественной речи [ГРОССМАН Л.П. (I). С. 33],

– в первую очередь – добавим от себя – в публицистических текстах.

А вот мнение на сей счет представителей русского Зарубежья. Известный историк литературы Константин Мочульский⁴⁴, один из руководителей парижского объединения «Православное дело», пишет, что:

Консерватизм Достоевского – особенный; бывшему петрашевцу и каторжнику не по пути с реакционером Мещерским. Ненависть к социализму и славянофильская мечта о христианской империи привела писателя в лагерь крайне правых. Он оказался в стане врагов. Какое трагикомическое недоразумение это сотрудничество величайшего духовного революционера с издателем «Гражданина»! [МОЧУЛЬСКИЙ. С. 388].

Другой исследователь творчества Достоевского, русский эмигрант «второй волны» Д.В. Гришин, отмечает, что:

Крайности были характерны для Достоевского. В 1873 году он делается редактором одного из самых консервативных журналов – «Гражданина» и в этом же году помещает в этом журнале статью под названием «Одна из современных фальшей». В ней Достоевский прославляет свое революционное прошлое, восхваляет революционеров, показывая их как лучших людей нации. Сам он решительно заявляет, что в то время был убежденным революционером. Несмотря на это заявление до настоящего времени существует миф, что Достоевский в кружок Петрашевского попал случайно, случайно был арестован, случайно на его деле оказалась надпись «Один из важнейших», случайно был приговорен к смертной казни и сослан на каторгу.

Здесь слишком много «случайностей». <...> для уничтожения мифа, приводим рассказ А. Майкова о роли, которую играл Достоевский в революционных кружках. Майков всегда был настроен очень консервативно и у нас нет оснований не верить его рассказу. Кроме того, все это подтверждается и другими источниками. «Приходит ко мне Достоевский, – пишет Майков, –

⁴⁴ Вслед за Достоевским он, как религиозный мыслитель, провозглашал тезис, что преодоление духовного упадка современной Европы должно сопровождаться развенчанием «секулярного гуманизма» культуры XIX в.

приходит в возбужденном состоянии и говорит, что имеет ко мне важное поручение. – Вы, конечно, понимаете, – говорит он, – что Петрашевский болтун, несерьезный человек и что из его затей никакого телку выйти не может. А потому из его кружка несколько серьезных людей решили выделиться, но тайно и ничего другим не сообщая, и образовать особое, тайное общества с тайной типографией, для печатания разных книг, и даже журнала, если это будет возможно... Вот нас семь человек <...>. Мы осьмым выбрали вас. Хотите ли вы вступить в общество? – Но с какой целью? – Конечно, с целью произвести переворот в России».

<...> Итак, Достоевский выступал как заговорщик, думающий «произвести переворот в России», так что – элемент случайности в его аресте отпадает.

<...> В том, что существующий порядок должен был кончиться Достоевский не сомневался, но вставал вопрос как? На Западе должна быть революция, а Россию спасет от революции православие. Как видно, в этом случае Достоевский оказался плохим пророком.

<...> И вот такой человек становится редактором «Гражданина»! Понятно, что работать там ему было трудно. Отношения с издателем журнала князем Мещерским делались все напряженнее и Достоевский через год покидает журнал. Консервативно настроенные друзья упрекали его в измене, не понимая, что Достоевский никогда не был полностью с ними. Он был вечным бутовщиком против всего, что ограничивало и угнетало свободу человека.

Таким Достоевский встает перед нами и по другим воспоминаниям современников. «Говорил Достоевский очень хорошо, красиво и убежденно – пишет В. Микулич. – Он громил католичество и папство, громил гнилой Запад с его культурой и жизнью, в которой все подкопано, расшатано и не сегодня-завтра, рухнет и исчезнет... Он говорил не раз, что «нищей» земле нашей суждено, может быть, сказать новое слово миру. Он горячо верил в высокую миссию русского народа». Далее Микулич пишет, что Достоевский был далек от людей подобных князю Мещерскому и Страхову. «Какие они единомышленники?... Те любят то, что есть. Он любит то, что должно прийти. А если он так ждет, так ждет того, что должно прийти, значит он не так уж доволен тем, что есть» [ГРИШИН (I). С. 23–24].

Здесь опять-таки можно найти антиномию: Достоевский превозносит «почву» (в потенции) и одновременно не доволен тем, что она порождает в реальности.

В конфликтной ситуации Достоевский способен был и на фрондерство, что, например, имело место в ситуации с романом «Подросток».

9 марта 1874 года писатель уходит из «Гражданина», отказывается от 3.000 р. годового содержания и остается без всяких средств. В апреле он едет в Москву запродать в «Русский Вестник» проект своего нового романа <«Подросток»>. Но Катков не решается заплатить 250 рублей с листа и дает ответ уклончивый. В феврале 1874 года писатель на несколько дней приезжает в Петербург и привозит в редакцию «Отечественных Записок» первые две части романа. Некрасов встречает его «чрезвычайно дружески и радушно» [МОЧУЛЬСКИЙ. С. 398].

Роман был опубликован в некрасовском либерально-демократическом журнале «Отечественные записки» в 1875 г., что, несмотря на смягчающие ситуацию разъяснения Достоевского, в правоконсервативном лагере было воспринято как идейное ренегатство.

Интересно, однако, что консервативный антиэгалитаризм⁴⁵ Достоевского, его тесная связь с сановой бюрократией (кн. Мещерский, Победоносцев, Катков) и Двором⁴⁶, не стали, сами по себе, предметом широкого критического обсуждения в среде его современников⁴⁷. Известно, впрочем, язвительное четверостишие сатирика-демократа Дмитрия Минаева (1873):

На союз Ф. Достоевского с кн. Мещерским

Две силы взвесивши на чашечках весов,
Союзу их никто не удивился
Что ж! первый дописался до «Бесов»,
До чертиков другой договорился.

Другое дело – истовый национализм писателя. Очень многим он импонировал: и тогда, и сегодня очень многие поклонники писателя убеждены, что:

Достоевский был русским, был предан России и беспредельно, болезненно, и страстно любил свой народ. Он выражал собою ярчайший тип русского с типичными для него общечеловеческими стремлениями [ГРИШИН (I). С. 20].

В свою очередь русские люди, не склонные к национальной чванливости и самообольщению, уже в те далекие времена, когда публицистические выступления Достоевского являлись частью актуального российского дискурса (см. Гл. IV), относились резко критически к националистическим визионерским высказываниям писателя, типа его утверждения, что русские якобы

приняли в себя общечеловеческое начало и даже сознали, что мы то, может, и назначены судьбою для общечеловеческого мирового соединения [ФМД-ПСС. Т. 19. С. 75].

Напомним, что эту идеологему разделял и Константин Победоносцев – основной протеже Достоевского при Дворе и главный идеолог Российской империи с конца 1870-х по 1905 год. Во многом по этой причине

⁴⁵ Русские консерваторы являлись решительными противниками социального равенства в любой его форме. Единственным подлинным равенством признавалось ими равенство людей перед Богом. Ими постулировалось, что неравенство людей в своих способностях естественно и благотворно для развития общества, ведь именно неравными большинству способностями и талантами выдающихся личностей человечество обязано всеми достижениями науке и технике, литературе и искусству. Но если люди не равны друг другу в способностях, то, по их мнению, вполне естественным являлось и то обстоятельство, что в обществе существует социальная иерархия.

⁴⁶ Нужно думать, что Победоносцев, дававший царям ряд советов в области их культурных интересов и отношений, подал мысль Александру II пригласить Достоевского для бесед со своими младшими сыновьями. С начала 1878 г. начались собеседования писателя с вел. князьями Сергеем и Павлом, продолжавшиеся и в последующие годы. <...> Вскоре после этого Достоевский, по приглашению брата царя генерал-адмирала Константина Николаевича, выступает в той же роли перед его сыновьями Константином (будущим «К.Р.») и Дмитрием. Воспитательное значение этих встреч всячески подчеркивалось свыше. Знаменитый писатель призывался раскрывать великим князьям их роль в современной истории, морально наставлять и политически направлять их [ГРОССМАН Л.П. (I). С. 22–23].

⁴⁷ Особо отметим, что если Достоевский, как «Вам благодарный, Вам верный и Вас беспредельно любящий слуга Ваш» подносил свои сочинения наследнику престола, в недалеком будущем императору Александру III и читал «Братьев Карамазовых» его супруге – в то время еще Вел. княгине Марии Федоровне, то граф Лев Толстой, имевший близкого родственника в ее окружении, напротив, демонстративно отказывался от такого рода выражения своих верноподданнических чувств.

русская правительственная жизнь конца XIX в., руководимая ближайшими друзьями и единомышленниками Достоевского, не переставала в течение целого двадцатипятилетия осуществлять принципы государственной программы, прокламированные «Дневником писателя». Ограничение прав общественного суда, наступательная русификаторская – *М.У.*> правительственная политика в национальном вопросе <включая государственный антисемитизм – *М.У.*>, охрана подрастающего поколения от социализма и атеизма – вся эта деятельность русского царизма между 1881 и 1905 гг. находится в полном согласии с политическими тезисами «Дневника» и «Братьев Карамазовых». <...> правительство последних Романовых вело свою политическую линию в духе заветов Достоевского, образ которого и лично запомнился многим виднейшим представителям династии. Политическая пропаганда Достоевского пустила корни в русскую жизнь и принесла свои плоды [ГРОССМАН Л. (II). С. 63].

Однако, как показал печальный опыт истории, охранительский запал этой пропаганды не сработал, ибо созданный Достоевским на потребу властных элит идеальный конструкт под названием «русская идея», ни в коей мере не отражал ни помыслов, ни чаяний широких слоев российского общества.

Весьма неопределенным, кочующим из записи в записку в дневниках, черновых набросках и эпистолярной Достоевского является «призрак русского народа» – знаковый образ и идейный концепт манифестируемого им почвенничества.

Современники заметили этот призрак уже в самых первых опытах Достоевского-публициста. Еще в 1863 г. в одной из петербургских газет появилась заметка о том, что «ученая редакция «Времени» (то есть братья Достоевские) «все продолжает заниматься открытием особой русской народности, которую давно обещалась открыть, но доселе открыть все не может». Эту «народность» Достоевский так и не смог «открыть» до конца дней своих, так как во всех тех, с кем он встречался, будь это русская интеллигенция, профессура, помещики, купцы, журналисты, писатели, чиновники, русские путешественники за рубежом и т. д., и т. п., представителей русского народа он не признавал, а других – просто не знал. В его записях полностью отсутствуют какие-либо упоминания о его личных контактах с теми, кого бы он считал олицетворением народа, существовавшего в его воображении, преданного царю и православию. Единственным представителем этого идеального «народа» в его «творческих дневниках» был мужик Марей из его детских воспоминаний, успокаивавший его, когда его одолевала «волко-фобия». В пореформенной глубинке Достоевский не бывал и пореформенную крестьянскую Русь знал только по тем же столичным газетам. Можно с уверенностью утверждать, что из всех великих писателей того времени, имея в виду Л. Толстого, Лескова, Чехова, не говоря уже о целой когорте бытописателей, Достоевский менее всех был осведомлен о народной жизни, и картины этой жизни в его произведениях зачастую нереальны и фантастичны. Фантастичен и образ «русского человека», «русской души», который создал Достоевский в своих художественных произведениях [ЯКОВЛЕВ Л. С. 106–107].

Конечно же, Достоевский имел значительный опыт личного общения с «простым народом», полученный им за четыре года отбывания каторги в Омском остроге, а затем на армейской службе. Результатом этого опыта является его литературный шедевр, повесть «Записки

из Мертвого дома» (1861–1862). И в последующих художественных произведениях писателя имеется множество образов и сюжетов, почерпнутых из этого времени – см. [АКЕЛЬКИНА]. Сам Достоевский после каторги писал брату Михаилу:

Сколько я вынес из каторги народных типов, характеров, я сжился с ними и потому, кажется, знаю их порядочно <...> На целые томы достанет. <...> Если я узнал не Россию, так народ русский хорошо, и так хорошо, как, может быть, не многие знают его. Но это мое маленькое самолюбие. Надеюсь, простительно [ФМД-ПСС. Т.28. Кн. I. С. 172–173] ⁴⁸.

Однако цитируемое выше критическое высказывание Л. Яковлева представляется нам во многом справедливым. Ни до каторги, ни после нее писатель никогда больше в «народной гуще» не обретался. Для графа Льва Толстого народ – это русские крестьяне, «дети мои». Патерналистское восприятие «народа» органично для потомственного русского аристократа. Достоевский же – сын врача из униатских поповичей, выслужившего потомственное дворянство, ни с какого бока отождествлять себя с этим «народом» не может. Он явно для него «чужой». Пафос Достоевского, утверждавшего в полемике с оппонентами:

Вы недостойны говорить о народе, – вы в нем ничего не понимаете. Вы не жили с ним, а я с ним жил (Записные тетради 1875–1876 гг.) [ФМД-ПСС. Т.24. С.127],

– проистекает исключительно из опыта его каторжной жизни, где он общался не с народом, а со всякого рода *сбродом*, т. е. случайным и беспорядочным соединением в одну массу представителей различных сословий.

После смерти Достоевского журнал «Мысль» опубликовал посвященную ему обширную статью⁴⁹. <...> По мнению Оболенского, Достоевский взялся «представлять и защищать» массу «серого православного крестьянства ни больше, ни меньше». Не интересы интеллигенции и не интересы какой-то обособленной части народа (например, раскольников) составляют предмет его забот: он выражает мирозерцание «серых зипунов» во всей его целостности – «без урезок... без ампутирования этого мирозерцания по своему произволу». «Один критик, – говорит Оболенский, – заметил, что Достоевский меньше всего описывал народ, а потому, мол, странно его называть народником». <...> Точка зрения Оболенского совершенно исключительна: подобные мнения не встречаются более во всей тогдашней литературе. Кажется, никому из современников Достоевского не приходило на ум связывать его имя с идеологией «серого православного крестьянства» [ВОЛГИН (II). С. 530–531].

В связи с этим возникает все тот же вопрос: «Кто был тем “народом”, выразителем мыслей и настроения которого мнил себя Достоевский?» Однозначно здесь мы можем утверждать только одно: «народ», с которым Достоевский действительно по жизни общался – это население Северной Пальмиры, «петербуржцы» разных сословий. Говорить об этой социальной группе как о реальном русском «народе» явно не приходится.

Таким образом, народ Достоевского и его друзей-почвенников – это по существу концепт, на базе которого, в полном отрыве от реалий российской действительности, он констру-

⁴⁸ На самом же деле, по свидетельству Суворина, отношение Достоевского к «народу» было куда более сложным, чем он декларировал, – см. А.С. Суворин. О покойном /В сб. [ДВС. С. 47]: Но вообще он не доверял народу. Во время политических выступлений наших, он ужасно боялся резни, резни образованных людей народом, который явится мстителем. – «Вы не видели того, что я видел, – говорил он. – Вы не знаете, на что способен народ, когда он в ярости. Я видел страшные, страшные случаи».

⁴⁹ Оболенский Л. //Мысль. 1881. Март. С. 410–411, 413.

ирует свои религиозные чаяния и национал-патриотические фантазии (подробно см. об этом в Гл. V).

Несомненно, к числу биографических парадоксов можно отнести и то обстоятельство, что Достоевский – человек, получивший в молодости самое лучшее в тогдашней России высшее военно-инженерное образование, никогда (sic!) в своей литературно-публицистической деятельности не касался вопросов технического порядка, даже таких, казалось бы, злободневных в насыщенную многочисленными войнами эпоху Александра II, как уровень технической подготовки и оснащения русской армии.

В мемуарной литературе существует лишь малодостоверное свидетельство доктора С.Д. Яновского, который передает якобы слышанный им от писателя рассказ о том, как однажды выполненная им чертежная работа «поступила на окончательную апробацию императора Николая Павловича»: «...Государь, как только взглянул на мой чертеж, – передает Яновский слова Достоевского, – тотчас увидел, что в изображенной мною крепости нет ни одних ворот! Эта моя ошибка, прошедшая незамеченною включительно до глаза Директора, сразу была замечена Царем, и Он написал на моем чертеже: “Какой дурак это чертил”. Мне надпись эта предъявлена была в подлиннике; я видел ее покрытую клеем и тот же час порешил: оставить то ведомство, в котором кличка эта само собою разумеется осталась бы за мною на всю мою жизнь...»⁵⁰. Хотя мемуарист, не замечая противоречия, приурочивает описанный инцидент к окончанию Достоевским Главного инженерного училища, то есть к 1843 г.⁵¹, биографы упоминают его в связи с выходом писателя в отставку из Чертежной Инженерного департамента в 1844 г. И пусть подвергают это свидетельство сомнению («Однако в делах Главного инженерного училища и Инженерного ведомства чертежа Достоевского» с подобной надписью не обнаружено»), тем не менее сохраняют его в материалах научной биографии писателя [МАСКЕВ-ТИХОМИР. С. 95–96].

В начале 1844 г. Достоевский, решив посвятить себя полностью только литературной деятельности, подал прошение об отставке и 19 октября 1844 года получил увольнение от военной службы. В письме к брату Михаилу от 30 сентября 1844 г. он писал по сему поводу:

Подал я в отставку, оттого что подал, то есть, клянусь тебе, не мог служить более. Жизни не рад, как отнимают лучшее время даром. Дело в том, что я, наконец, никогда не хотел служить долго, следовательно, зачем терять хорошие годы? А наконец, главное: меня хотели командировать – ну, скажи, пожалуйста, что бы я стал делать без Петербурга. Куда я бы пошел? [ДФМ-ПСС. Т. 28. Кн. 1. С. 100].

Последнее высказывание подтверждает вышеизложенное нами представление о Достоевском как «столичном жителе»: по рождению – «москвич», по бытовой укорененности – «петербуржец». Это подробность биографии Достоевского представляется нам знаковой, ибо большинство его современников из числа именитых русских литераторов (Писемский, Лес-

⁵⁰ Яновский С.Д. Письмо к О. Ф. Миллеру от 8/20 ноября 1882 г. // РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29918. С 5: URL: http://lib2.pushkinskijdom.ru/Media/Default/PDF/ROPD/EROPD_2015/13_Баршт.pdf

⁵¹ В 1827 г. Достоевский был принят в Главное инженерное училище (СПб.), по окончании которого в 1843 г. был зачислен полевым инженером-подпоручиком в Петербургскую инженерную команду. Воспроизведем отметки, касающиеся Достоевского-выпускника: «Были ли проступки по службе: Не было; Сколько служили кампаний: Ни одной; Усердны ли по службе: Усердны; Каковых способностей ума: Хороших; В каких науках имеют знание: Инженерную науку; Какие знают иностранные языки: Французский и Немецкий; Каковы в Нравственности: Хорош; Каковы в Хозяйстве: Хорош» [МАСКЕВ-ТИХОМИР. С. 105].

ков, Тургенев, Некрасов, И. Гончаров, Боборыкин...⁵²) по происхождению были провинциалами, а с 90-х годов XIX в. провинция, в лице ее лучших представителей (Чехов, Горький, Бунин, Л. Андреев, Куприн.), и вовсе стала доминировать на русской литературной сцене. Так что «народность» Достоевского – это по сути своей метафора, плод его воображения или, если угодно, идеологема, как и все его национал-патриотические тезисы в целом. Недаром же их аргументировано оспаривали оппоненты-современники – см. Гл. II. В целом большинство социально-политических концептов Достоевского – одного из тончайших в истории мировой литературы знатоков сокровенных тайн человеческой психики, свидетельствуют о присущей ему самому, как рефлексирующей личности, *парадоксальной*, с точки зрения здравого смысла, веры в собственные иллюзорные фантазии. В первую очередь, конечно же, здесь следует назвать придуманную им «русскую идею», согласно которой:

Русские должны были <...> послужить всему человечеству, потому что русские «приняли в себя общечеловеческое начало и даже сознали, что мы то, может, и назначены судьбою для общечеловеческого мирового соединения». «Русская идея станет со временем синтезом всех тех идей, которые Европа так долго и с таким упорством вырабатывала в отдельных своих национальностях». В русском сообществе стремление к общечеловеческому объединению «было даже наиболее нормальным состоянием этого общества <...>. Этот всечеловеческий отклик с русском народе даже сильнее, чем во всех других народах, и составляет его высшую и лучшую характерность» [ГРИШИН (I). С. 21].

Добавим к этому еще одну цитату, в которой озвучена подобного рода заявка на национальную исключительность русского народа:

У нас – русских, две родины: наша Русь и Европа, даже и в том случае, если мы называемся славянофилами, – (пусть они на меня за это не сердятся). Против этого спорить не нужно. Величайшее из величайших назначений, уже сознанных Русскими в своем будущем, есть назначение общечеловеческое, есть общеслужение человечеству, – не России только, не общеславянству только, но всечеловечеству. Подумайте и вы согласитесь [ДФМ-ПСС. Т. 23. С. 30].

Историко-критический анализ такого рода представлений, ставшими со временем архетипами русской ментальности, см. в книге [ДОЛИНИН]. Сам Достоевский четкого определения понятия «русской идеи» не дал, ограничившись общими рассуждениями о том, что это оно в себя включает. Существует мнение, что якобы:

У него появилась надежда, что в результате отмены крепостного права произойдет «слитие образованности и ее представителей с началом народным и приобщение всего великого русского народа ко всем элементам нашей текущей жизни, – народа, отшатнувшегося от Петровской реформы еще 170 лет назад и с тех пор разъединенного с сословием образованным, жившего отдельно, своей собственной, особенной и самостоятельной жизнью».

Как видно из приведенной цитаты, «народ» не входит в «общество», и целью исторического процесса является их воссоединение. Это воссоединение произойдет, уверен Достоевский, «мирно и согласно», в отличие от Европы, где царствует враждебность между сословиями.

⁵² Граф Лев Толстой, будучи урожденным «москвичом», предпочитал жить в провинции, в своем родовом имении Ясная Поляна.

<...> «Русская идея» Достоевского, таким образом, действительно есть идея о будущих русских задачах. Она основана отчасти на опыте прошлого (неудавшейся европеизации) и предполагает, поэтому, «возвращение к почве». Это возвращение, однако, является только условием для осуществления «русской идеи», но не самой «русской идеей». Отсюда следует, что, хотя опыт прошлого важен для задачи на будущее (как «урок»), они далеко не идентичны. Ожидания Достоевского основаны скорее на креативном переосмыслении опытов бывших «встреч с Европой». Между тем он сам может лишь «предугадывать с благоговением», что будет впереди [МБЁР С. 405–406].

После кончины писателя Вл. Соловьёв, С. Булгаков, Н. Бердяев и др. русские философы XX в., развивая эту концепцию Достоевского, давали ее более или менее развернутые определения.

У Достоевского нигде и никогда мы не встретим отрицания высших достижений западной культуры. Его любовь, даже преклонение перед вершинными явлениями европейского духа – факт, не требующий доказательств. В готовности русского человека стать «братом всех людей» он усматривал великую надежду: возможность породнения России и Запада. Он верит в кровность соединяющих их духовных уз. «Русские европейцы» (выражение в устах Достоевского бранное) – это как раз псевдоевропейцы, люди, усвоившие лишь наружные формы европейской культуры и гордящиеся именно этими внешними знаками своего культурного превосходства. Он обвиняет русский либерализм в поклонении западной цивилизации, но не культуре. Он не может согласиться с тем, чтобы видимость ставилась выше сути. Он далеко не всегда прав в этих своих обвинениях. Русское западничество – серьёзное, позитивное и, что важнее всего, исторически неизбежное явление, находящееся на магистральной линии отечественного развития. Российский либерализм западнического толка обладает бесспорными и весьма ощутимыми культурно-историческими заслугами. Не только «энциклопедия Брокгауза и Ефрона», но и весь комплекс достижений русской науки и просвещения второй половины века были бы немыслимы при самозамыкании и самоизоляции. Кроме того, политическая программа русского либерализма содержала такие моменты, которые в условиях безраздельного господства «непросвещённого абсолютизма» носили хотя и ограниченный, но объективно прогрессивный характер. Эволюция самодержавной монархии в сторону представительного правления с определёнными конституционными гарантиями – такой процесс, который, начнись он на самом деле, мог бы во многом изменить дальнейший ход судеб. Трагедия российского либерализма состояла в том, что он полагался только на добрую волю власть имущих и исключал из своих политических расчётов потенциальные возможности «низов». За это упрекали либералов русские революционеры. Но как ни парадоксально, именно за то же упрекает их и Достоевский (хотя он, разумеется, различает в народе совсем иную, нежели левые радикалы, историческую потенцию). Народ «не видит, что сохранять» – эти слова, очевидно, не вызвали бы возражений в стане русской революции. «Уничтожьте ка формулу администрации» – именно всю «формулу», а не те или иные её части. Такое уничтожение (равносильное на деле полному слому существующей государственной машины) составляло

даже не ближайшую, а отдалённую цель отечественных социалистов. Его мирозерцание противостоит «классическому» славянофильству не в меньшей мере, чем «классическому» западничеству. Русский либерализм западнического толка не имел шансов выжить в стране таких непримиримых полярностей. С одной стороны, он подвергался тотальной критике за свою половинчатость и непоследовательность, за недостаточный политический радикализм, а с другой – язвительному осмеянию за преувеличенный интерес именно к политической стороне дела, за игнорирование максималистских (столь трудно осуществимых на практике) нравственных целей. В России либеральная идея была обречена: она пала под этими двойными ударами. Какую же альтернативу предлагает сам Достоевский? На этот вопрос невозможно ответить однозначно. Ибо, жадно интересующийся политикой, он мыслит категориями вовсе не политическими. Его «программа» не вписывается ни в одну из существующих идеологических моделей. Он знает одно: человеческое (истинно человеческое) и общественное, сверхличное в своей сокровенной сути должны совпадать [ВОЛГИН (II). С. 482–484].

Все наднациональные идеи одинаковы в своей основе, корни которой уходят в ветхозаветный Израиль: тот или иной народ объявляет себя «новым Израилем», претендует на исключительность и роль флагамена всего человечества. В эпоху всеобщего расцвета национализма, когда начался процесс разрушения мировых империй, Достоевский обосновывал историческую значимость русского великодержавного шовинизма, что в первую очередь импонировало чаяниям власти имущих. Потому его и привечал наследник престола Великий князь Александр Александрович, махровый антисемит и ретроград, свернувший после восшествия на престол под именем Александр III политику либеральных реформ, начатую его отцом. Именно нежелание его и его сына – будущего императора Николая II, считаться с реальным миром вещей, и привело к тем великим потрясениям, которых так страшился Достоевский и которые, в конечном счете, сокрушили трехсотлетнюю династию Романовых и Российскую империю. При этом, как ни парадоксально, фантазия Достоевского о «русской идее», в которой, как показало время, не высвечивается даже «крошечное зернышко правды», тем не менее, оказалась очень живучей. Пройдя на отечественной почве целый ряд модификаций своего национал-патриотического обличья, она в наше время стала звучать примерно так:

русская идея – это определяемая русским национальным характером, сердцем русского человека, оформленная в культуре уникальная синтетическая концепция пути развития русской цивилизации, имеющего целью всеобщее спасение, братскую любовь и счастье всех людей [ГОРЕЛОВ. С. 55].

Парадоксальна и приверженность Достоевского своим религиозным идеологемам. Здесь, как и в политических пророчествах, степень его убежденности обратно пропорциональна их фактической обоснованности.

Когда-то он писал Фонвизиной, что если б ему доказали, «что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина вне Христа», то ему «лучше хотелось бы оставаться со Христом, нежели с истиной». Следует вдуматься в эти удивительные слова. Достоевский допускает (пусть теоретически), что истина (которая есть выражение высшей справедливости) может оказаться вне Христа: в таком случае сам Христос как бы оказывается вне Бога [ВОЛГИН (II). С. 540–541].

Это можно интерпретировать также и как фанатическую убежденность в духе первых христиан – «Верую, ибо абсурдно», и как болезненное нежелание отказаться от своего видения даже перед лицом Высшей правды. Да и вообще, поскольку Достоевский, в отличие, например, от Льва Толстого, никакой цельной философской концепции не предлагал – не говоря уже о «системе» (sic!) – его многочисленные мировоззренческие высказывания толкуют очень широко, вплоть до самых парадоксальных, с точки зрения заявления «нового слова, умозаключений. Например, широко известно следующее утверждение Достоевского из программной для почвенников статьи «Влас» в «Дневнике писателя» за 1873 г.:

Говорят, русский народ плохо знает Евангелие, не знает основных правил веры. Конечно так, но Христа он знает и носит его в своем сердце искони. В этом нет никакого сомнения. Как возможно истинное представление Христа без учения о вере? Это другой вопрос. Но сердечное знание Христа и истинное представление о нем существует вполне. Оно передается из поколения в поколение и слилось с сердцами людей. Может быть, единственная любовь народа русского есть Христос, и он любит образ его по-своему, то есть до страдания. Названием же православного, то есть истиннее всех исповедующего Христа, он гордится более всего. Повторю: можно очень много знать бессознательно [ДФМ-ПСС. Т. 21. С. 38].

Первый тезис здесь – бесспорен: простой русский народ в то время на 90 % был неграмотен, а уж читать, тем более понимать Евангелие способны были лишь единицы. Но как понять, что такое «сердечное знание Христа и истинное представление о нем» у незнающего Евангелие человека? Здесь, помимо мифопоэтических образов, скорее всего, можно говорить об интуитивном («априорном») восприятии морали в Духе христианского вероучения. Т. о., Достоевский излагает кантовское представление о «моральном законе», то, что

в жизни каждого из людей ощущается присутствие неких дополнительных (не обнаружимых «в природе») принуждающих сил: они-то и несут ответственность за человеческое в человеке. Суть «человеческого» надындивидуальна. Чувство долга, выполняемые человеком обязанности – вот тот особый элемент жизни каждого индивида, который, ничего не давая (а порой и вредя ему) в аспекте «личного счастья», обеспечивает общество в целом необходимыми скрепами. <У Достоевского, как и у Канта важно не то, что> мораль, выделяющая человека из прочих объектов чувственного мира, относится к сфере сверхчувственного, умопостигаемого, <сколько-то обстоятельство, что> сама сфера умопостигаемого постулируется философом как «невидимое основание» человеческой морали [МЮРБЕРГ. С. 5–7]⁵³.

Как еще один парадокс – уже имеющий отношение к области высоких идей, а повседневному общественному служению писателя, отметим, что, являясь любителем музыкального и изобразительного искусства, выступая даже как, говоря современным языком, арт-критик, Достоевский при всем этом не имел никаких личных контактов с художниками «передвижниками»⁵⁴, за исключением Василия Перова, который по заказу П.М. Третьякова в 1872 г.

⁵³ Вслед за Кантом, Достоевский постулирует причастность русского человека к чему-то более существенному, чем он сам, – т. е. к Христу, и делает «это» критерием добра и зла. Но то, что у Канта является универсальным законом для всех людей, у Достоевского *парадоксальным* образом приписывается исключительно русскому народу.

⁵⁴ «Передвижники» – участники «Товарищество передвижных художественных выставок», объединения российских художников, возникшее в 1870 г. и просуществовавшее до 1923 г. В эстетическом плане участники Товарищества до 1890-х г. целенаправленно противопоставляли себя академистам. В число «передвижников» входили все выдающиеся русские художники второй половины XIX в.

написал его портрет⁵⁵ – И это при том, что именно «передвижники» в противовес академическому искусству выступали как выразители «национальной идеи» в русской живописи. А вот его идейный противник Михаил Салтыков-Щедрин был, по авторитетному утверждению Владимира Стасова:

первый из крупных русских писателей, <который> с истинной симпатией отнесся к новой русской художественной школе <...>. Но Салтыкова не хватило на понимание новой музыкальной русской школы, и он над нею только весело и забавно глумился [САЛТ-ЩЕД. Т. 15. Кн. 2. С. 340].

По-видимому, Достоевского тоже «не хватило на понимание новой музыкальной русской школы», ибо, будучи знаменитым петербуржцем, страстно любя музыку и посещая художественные салоны, он при всем этом не был знаком ни с кем из композиторов «Могучей кучки»⁵⁶. При этом, как ни странно, он поддерживал отношения с евреями-выкрестами братьями Николаем и Антоном⁵⁷ Рубинштейнами – см. об этом в Гл. X.

Упомянув о музыкальных вкусах Достоевского, отметим и такой интересный факт: являясь большим поклонник немецкой музыки, в первую очередь – Бетховена, он с неприязнью относился к музыке Рихарда Вагнера, который в своей гастрольной поездке 1861 г. снискал огромный успех у русской музыкальной общественности Москвы и Ст. – Петербурга. Нам не известно, был ли знаком Достоевский с получившим большой общественный резонанс вагнеровским антисемитским памфлетом «Еврейство в музыке» (1850) и его шовинистической статьей «Что такое немецкое?» (1865, 1878), где композитор делает «хвастливые националистические заверения об исключительности немца, который сумел “показать себе и миру, кто такой Шекспир... открыл миру, что такое античность” и т. п.» [МАРКУС. С. 527]. Однако, рассказывая о жизни в Дрездене в 1866 г., А.Г. Достоевская писала: «Произведений Рихарда Вагнера Федор Михайлович совсем не любил [ДОСТОЕВСКАЯ

А.Г. С. 182]. В одной из записных тетрадей 1876 г. Достоевский сопоставил Вагнера с Бисмарком [ДФМ-ПСС. Т. 24. С. 263], что, можно полагать, ассоциировалось у него с враждебным славянству «германским экспансионизмом» Прусского государства. В увертюре к опере «Тангейзер» Вагнер представлялся Достоевскому влюбленным в «свою собственную болтовню» и «уверенным в своих писательских совершенствах», что якобы подавалось им под видом «любви к природе» [ДФМ-ПСС. Т. 24. С. 239]. А в письме к А.Г. Достоевской от 7 (19) августа 1879 г. Достоевский уничижительно отзывался о Вагнере в сравнении со своими любимыми композиторами:

Музыка здесь <в Эмсе> хоть и хороша, но редко Бетховен, Моцарт, а все Вагнер (прескучнейшая немецкая каналья, несмотря на славу свою) и всякая дрянь [ДФМ-ПСС. Т. 30. Кн. 1. С. 100].

⁵⁵ Как свидетельствует в своих воспоминаниях Е.П. Леткова, другой «передвижник» – Константин Маковский (1839–1915) встречался с Достоевским в конце 1870-х гг. и в 1880 г. у издателя А.С. Суворина и хоронил его. Тем не менее, будучи знаменитым портретистом, он не исполнил портрета писателя.

⁵⁶ «Могучая кучка» (а также Балакиревский кружок, Новая русская музыкальная школа или, иногда, *Русская пятёрка*) – творческое содружество русских композиторов, сложившееся в Ст. – Петербурге в конце 1850-х – начале 1860-х гг. В него вошли: Милий Алексеевич Балакирев (1837–1910), Модест Петрович Мусоргский (1839–1881), Александр Порфирьевич Бородин (1833–1887), Николай Андреевич Римский-Корсаков (1844–1908) и Цезарь Антонович Кюи (1835–1918). Идейным вдохновителем и основным немusикальным консультантом кружка был художественный критик, литератор и архивист Владимир Васильевич Стасов (1824–1906). Собрания балакиревского кружка протекали всегда в очень оживлённой творческой атмосфере. Члены этого кружка часто встречались с писателями А.В. Григоровичем, А.Ф. Писемским, И.С. Тургеневым... Деятельность «Могучей кучки» стала эпохой в развитии русского музыкального искусства.

⁵⁷ Примечательно, что к Антону Рубинштейну неприязненно относились не только деятели «Могучей кучки», опасавшиеся излишнего «академизма» консерватории, но и придворные круги, конфликт с которыми вынудил его в 1867 г. покинуть пост директора созданной его усилиями консерватории.

Говоря о «парадоксах Достоевского», нельзя обойти вниманием его фигуру и как русского «утопического социалиста». В отличие от западных философов, чьи социалистические идеи, строившиеся, в видении Достоевского, по «католическому деспотическому» шаблону, утеряли таким образом религиозную суть и стали антитезисом христианства, русский мыслитель предлагал модель, в которой

социализм также вытекает не столько из предшествующей ему общественно-экономической формации – капитализма, сколько из христианства, но в православном варианте, придающем ему особую специфику. Русский социализм Достоевского представляет собой двойное соответствие: традициям православия и новым социально-политическим веяниям эпохи. «Я говорю про неустанную жажду в народе русском, всегда в нем присущую, великого, всеобщего, всенародного, всебратского единения во имя Христово. <...> Не в коммунизме, не в механических формах заключается социализм народа русского; он верит, что спасется лишь в конце концов *всесветным объединением во имя Христово*. Вот наш русский социализм!»

Определение Достоевским русского социализма как всеобщего братства во Христе совпадает по сути с определением русской идеи. Также здесь открывается связь русского социализма с концепцией Москвы как Третьего Рима. «Древний Рим первый родил идею всемирного единения людей», которая превратилась с победой христианства в «идеал всемирного же единения во Христе». Москва предстает Третьим Римом, но в православно-социалистической оболочке. Это и есть то новое слово, которое пронесется с Востока «навстречу грядущему социализму, который, может быть, вновь спасет европейское человечество». Идея «трех социализмов» Достоевского – это аналог трех современных идеологий – капиталистической, националистической и коммунистической.

По мнению Бердяева, Достоевскому «принадлежат самые глубокие мысли о социализме, которые когда-либо были высказаны» [ГОРЕЛОВ. С. 58–59].

За всеми рассуждениями такого рода скрывается явное *нежелание* современных отечественных достоевсковедов признать очевидный факт: при всей своей чуткости к веяниям времени, прозорливости, как художника, и способности как мыслителя формулировать оригинальные этические максимы типа:

Вопрос ставится у стены: «Презираете вы человечество или уважаете, вы, будущие его спасители?» [ДФМ-ПСС. Т. 30 (1). С. 68],

– Достоевский в своих претензиях на роль политического мыслителя в целом был не столько оригинален, как *актуален*, т. е. исключительно чуток к «Духу времени». С огромной страстностью и убеждением утверждая:

Мало того, мы признаем, что мы, то есть все цивилизованные европейски русские, оторвались от почвы, чутье русское потеряли до того, что не верим в собственные русские силы...

...Русская земля скажет свое новое слово, и это новое слово, может быть, будет новым словом общечеловеческой цивилизации выразит собою цивилизацию всего славянского мира <...>. [ДФМ-ПСС. Т. 20. С. 98–99],

– он, как социальный мыслитель, ни нес «нового слова» – то же самое говорили в 60-е – 80-е годы XIX в. и германские националисты-«почвенники», ни предсказывал будущее.

В последние месяцы своей жизни, Достоевский подготавливает к печати январский номер «Дневника писателя» за 1881 год. Дерзновенно говорит он в нем о русском народе, как о церкви и парадоксально называет народную идею «русским социализмом». «Вся глубокая ошибка наших интеллигентных людей в том, пишет он, что они не признают в русском народе **Церкви**. Я не про здания церковные теперь говорю и не про причт, **я про наш русский «социализм» теперь говорю** (и это, обратно-противоположное Церкви слово беру именно для разъяснения моей мысли, как ни показалось бы это странным), цель и исход которого – всенародная и вселенская Церковь, осуществленная на земле, поколику земля может вместить ее... Не в коммунизме, не в механических формах заключается социализм народа русского: он верит, что спасется лишь, в конце концов, **всесветным единением во имя Христово**. Вот наш русский социализм!» [МОЧУЛЬСКИЙ. С. 531].

По парадоксальному капризу судьбы на обожествляемой им русской «почве» синтез всех «идей, которые Европа так долго и с таким упорством вырабатывала», привел не к созданию русского варианта «христианского социализма», а «марксизма-ленинизма», который и «овладел массами», и подчинил их себе. Как результат этого, на месте до основания уничтоженной Российской империи возникла не мифическая «всенародная и вселенская Церковь», а могучий Советский Союз, в котором все религии влачили жалкое существование. Не менее парадоксально, что, относясь крайне неприязненно к идеям Достоевского, большевики/коммунисты, основатели СССР – «первого в мире государства рабочих и крестьян», вполне разделяли его точку зрения на то, что «русская земля будет новым словом общечеловеческой цивилизации. Верили они и в мессианское призвание русского народа (точнее, его передового отряда – пролетариата), взять на себя роль флагамена в борьбе человечества за светлые идеалы всеобщего братства и социальной справедливости. Патерналистская роль советского – сиречь русского человека, выражающаяся в его бескорыстной жертвенной помощи угнетенным странам и народам в обмен на их дружелюбие – один из важнейших постулатов коммунистической пропаганды.

Несмотря на все вышеозначенные *парадоксы*, многие из которых не могут воспринимать иначе, как *националистические фантазии*, и русские мыслители XX столетия, и современные отечественные достоевсковеды убеждены, что именно:

Достоевский создал русскую глубину. И именно потому, что опустился к истоку появления духовной личности, увидел, где и как в христианстве дух начинал дышать, понял важность исповедального обращения к Богу для проникновения в суть человеческой души. Современность такого опыта все же не давала. <...> Как писал русский поэт-метафизик Серебряного века Вяч. Иванов: «Он жив среди нас, потому что от него или через него все, чем мы живем, – и наш свет, и наше подполье. Он великий зачинатель и предопределитель нашей культурной сложности. До него все в русской жизни, в русской мысли было просто. Он сделал сложными нашу душу, нашу веру, наше искусство. Он как бы переместил планетную систему: он принес нам, еще не пережившим того откровения личности, какое изживал Запад уже в течение столетий, – одно из последних и окончательных откровений о ней, дотоле неведомое миру» [КАНТОР. С. 28].

Что касается Запада, где в XX столетии «советские люди» в сознании большинства по-прежнему оставались «русскими», то мессианский великодержавный шовинизм Достоевского вслед за его модификацией в русле большевистской пропаганды «мировой социалистической

революции» превратился в головах левых западных интеллектуалов в «пролетарский интернационализм», а у их противников – ранних идеологов «консервативной революции», таких, например, как Томас Манн, Эрнст Трёльч и Артур Мёллер ванн ден Брук – в здоровый *консерватизм*.

Томас Манн первым употребил это словосочетание, ссылаясь на Достоевского, который в «Дневнике писателя» писал и об особой роли революционности, вытекающей из консерватизма («Мой парадокс»). <В> книге «Размышления аполитичного (1918) Манн непрестанно цитирует Достоевского, называя его «пророком». <Он утверждает, что> «Немцев и русских роднит близкое понимание человека и человечности, отличное от латинского и англосаксонского. <...> ставит вопрос о сходном противостоянии традиций этих двух стран Западу и спрашивает: «Разве у нас нет своих славянофилов и западников? <...> Славянофильство в России он оценивает по негативному содержанию – как реакцию на Запад, а по позитивному – как консерватизм. Именно такова его позиция – консервативное противостояние Западу» [РУТКЕВИЧ],

– полная калька с национал-политических воззрений Достоевского.

Как *парадоксальное* совпадение можно рассматривать тот неоспоримый факт, что в основные идеи русского «почвенничества», манифестируемые Достоевским, и немецкого национал-патриотизма, оформившегося в XX в. в движение «фёлькиш», были сформулированы практически одновременно – в 60-х – 90-х гг. XIX в. Например, в тех же выражениях, как и Достоевский, говоривший в «Дневнике писателя» о «русской идее», подобного рода концепции развивал его германский современник Генрих фон Трейчке [РИНГЕР], о коем речь пойдет ниже. По его убеждению, германская идея свободы всегда будет иной, не похожей на идею свободы западных народов, поскольку она имеет не столько политический, сколько духовный характер.

Позднее, когда немецкое «фёлькиш»-движение уже достаточно оформилось, известный германский мыслитель Эрнст Трёльч [ТРЁЛЬЧ] утверждал в статье «Метафизический и религиозный дух немецкой культуры» (1916), что в своей интенции немецкая философия, искусство, политическое мышление отличаются от западноевропейской традиции. В наше время такого рода утверждения являются расхожим мнением в кругах политической и интеллектуальной элиты современной России.

Если в своих националистических фантазиях Достоевский шел, нога в ногу, с немецкими мыслителями-современниками, то уже в XX в. его собственные идеи оказали ощутимое влияние на национал-социалистически ориентированных немецких мыслителей начала XX в. Этому феномену в немалой степени способствовал новый перевод собрания сочинений Достоевского, издававшийся под совместной редакцией Дмитрия Мережковского и одного из апологетов «консервативной революции» и провозвестников германского национал-социализма Артура Мёллера ванн ден Брука, (он также написал предисловие к ряду томов). Примечательно, что этот мыслитель рассматривал Октябрьскую революцию как консервативный протест русского самосознания, считая, что большевизм, как национальное движение, «преодолевают навязанный извне марксизм» [АЛЛЕНОВ]. Поскольку затронутая нами тема до сих пор не раскрыта в научной литературе, в Гл. V мы обстоятельно рассмотрим вопрос о тождественности почвенно-националистических идей Достоевского и концепций немецких национал-патриотов.

Возвращаясь к разговору о психологических «комплексах» Достоевского, следует упомянуть и тот факт, что воспоминания о детских годах, проведенных им в отчем доме, «среди семейства русского и благочестивого», были у него отнюдь не самые радостные:

В отеческом доме, под почтенными формами строго налаженной жизни, мальчик рано (стал замечать ложь и неблагополучие. Все романы Достоевского в глубоком смысле автобиографичны. И, конечно, в рукописи «Подростка», он пишет о своей семье: «Есть дети, с детства уже задумывающиеся над своей семьей, с детства оскорбленные не-благообразием отцов своих, отцов и среды своей, а главное – уже с детства начинающие понимать беспорядочность и случайность основ всей их жизни, отсутствие установленных форм и родового предания». Семья штаб-лекаря Достоевского, захудалого дворянина и мелкого помещика, вполне подходит под формулу «случайное семейство» [МОЧУЛЬСКИЙ. С. 11].

Все эти факторы в совокупности с падучей болезнью, трагедией ареста, «гражданской казни» и политической ссылки составляют психофизический портрет Достоевского. По воспоминаниям современников и в зрелые годы ему, при всей его огромной писательской популярности, также было присущи обостренное чувство обидчивости и якобы «наследственные» [МОЧУЛЬСКИЙ. С. 12] угрюмость, скрытность и подозрительность. Можно полагать, в этом и лежит основная причина личного одиночества Достоевского, отсутствия у него искренних друзей – о чем он, по свидетельству Всеволода Соловьева, весьма печалился:

Вы думаете, у меня есть друзья? Когда-нибудь были? Да, в юности, до Сибири, пожалуй что, были друзья настоящие, а потом, кроме самого малого числа людей, которые, может быть, несколько и расположены ко мне, никогда друзей у меня не было. Мне это доказано, слишком доказано! Слушайте, когда я вернулся в Петербург, после стольких-то лет, меня многие из прежних приятелей и узнать не захотели, и потом всегда, всю жизнь друзья появлялись ко мне вместе с успехом. Уходил успех – и тотчас же и друзья уходили. Смешно это, конечно, старо, известно всем и каждому, а между тем всякий раз больно, мучительно... Я узнавал о степени успеха новой моей работы по количеству навещавших меня друзей, по степени их внимания, по числу их визитов. Расчет никогда не обманывал. О, у людей чутье, тонкое чутье! Помню я, как все кинулись ко мне после успеха «Преступления и наказания»! Кто годами не бывал, вдруг явились, такие ласковые... а потом и опять все схлынуло, два-три человека осталось. Да, два-три человека!.. [СОЛОВЬЕВ Вс. С.].

Весьма примечательно, что Всеволод Соловьев, боготворивший Достоевского и оставивший о нем очень интересные и ценные в историческом плане воспоминания, сетовал, однако же, та то, что:

Многое я не мог внести в свои печатные воспоминания об этом человеке великого духовного порыва и *вместе великого греха* (курсив мой) [ИЗМАЙЛОВ. С. 465].

Достоевский, несомненно, фигура трагическая, вполне соответствующая определению, которое он сам дал такому типу страдальцев по жизни – «Униженные и оскорбленные».

Унижение – ориентир, угол, градус, под которым Достоевский видит мир. Причем заметьте: чем униженней персонаж Достоевского, тем он умнее: униженный человек острее видит людей и мир – вот вывод нравственной философии Достоевского, которым я бы заменил другой: о страдании, якобы облагораживающем человека. Лучше страдающий человек не становится; но злее и умнее он стать может. Достоевский и сам был таким – умным и злым, как герой его и точнейший автопортрет – человек из подполья.

Потому что почти всю свою жизнь он был униженным: царским правительством, каторжным начальством, издателями, литературными врагами – и литературными друзьями. <...> Главн<ым> <здесь> было неумение Достоевского поставить себя в обществе литераторов – людей, как известно, злоязычных и обладающих острым чувством юмора. В их кругу талантливый молодой автор очень скоро сделался предметом всеобщих насмешек. А Достоевский потерялся, успех вскружил ему голову, и, судя по многим свидетельствам, он действительно порой бывал смешон. Посмеяться же любят как раз над тем человеком, превосходство которого так или иначе ощутимо.

<...>.Смердякову Достоевский отдал <...> опыт собственных унижений в номинально дружественной среде: воспоминания о годах, когда он был «ниже всех» в обществе как будто равных [ПАРАМОНОВ. С. 354–355].

Имелся у Федора Михайловича Достоевскому и своего рода «Эдипов комплекс» – мучительные воспоминания о его отце.

Это был человек тяжелого нрава, вспыльчивый, подозрительный и угрюмый. На него находили припадки болезненной тоски; жестокость и чувствительность, набожность и скопидомство уживались в нем. Жена его, Мария Федоровна, из купеческого рода Нечаевых, кроткая и болезненная, благоговела перед мужем.

<...>

<В письмах к жене> он постоянно жалуется на бедность. «Ах, как жаль, пишет он жене, что по теперешней моей бедности, не могу Тебе ничего послать ко дню Твоего ангела. Душа изнывает». Но бедности не было: Михаил Андреевич получал сто рублей ассигнациями жалования, имел частную практику, казенную квартиру, семь слуг и четверку лошадей. В 1831 г. он купил имение в Тульской губернии, состоявшее из двух деревень – Даровое и Чермашня.

<...>

После смерти жены, смиренная любовь которой смягчала деспотический нрав Михаила Андреевича, он вышел в отставку и поселился в своей деревне. Там он стал пьянствовать, развратничать и истязать крестьян. Один крестьянин села Дарово, Макаров, помнивший старика Достоевского, отзывался о нем так: «Зверь был человек. Душа у него была темная – вот что... Барин был строгий, неладный господин, а барыня была душевная. Он с ней нехорошо жил, бил ее. Крестьян порол ни за что». В 1839 г. крестьяне его убили. Андрей Достоевский рассказывает в своих воспоминаниях: «Отец вспылил и начал очень кричать на крестьян. Один из них, более дерзкий, ответил на этот крик сильною грубостью и вслед за тем, убоявшись последствий этой грубости, крикнул: «Ребята, карачун ему». И с этими возгласами крестьяне в числе 15 человек накинулись на отца и в одно мгновение, конечно, покончили с ним». Дочь писателя, Любовь Достоевская, прибавляет: «Его нашли позже на полпути задушенным подушкой от экипажа. Кучер исчез вместе с лошады. В переписке Достоевского мы не найдем ни одного упоминания о трагической смерти отца. В этом упорном молчании в течение всей жизни есть что-то страшное. Друг писателя, барон Врангель⁵⁸,

⁵⁸ Барон Александр Егорович Врангель, состоя на службе в Семипалатинске, встречался с находившимся там в ссылке Достоевским, помогал ему деньгами, хлопотал о присвоении Достоевскому офицерского чина и разрешении вернуться в

сообщает, что «об отце Достоевский решительно не любил говорить и просил о нем не спрашивать». А. Суворин намекает на «трагический случай в семейной жизни». «Падучая болезнь», пишет он, которую Достоевский страдал с детских лет, много прибавила к его тернистому пути в жизни. Нечто страшное, незабываемое, мучащее случилось с ним в детстве, результатом чего явилась падучая болезнь.

<...>

Воображение сына было потрясено не только драматической обстановкой гибели старика, но и чувством своей вины перед ним. Он не любил его, жаловался на его скупость, незадолго до его смерти написал ему раздраженное письмо. И теперь чувствовал свою ответственность за его смерть. Это нравственное потрясение подготовило зарождение падучей. Проблема отцов и детей, преступления и наказания, вины и ответственности встретила Достоевского на пороге сознательной жизни. Это была его физиологическая и душевная рана. И только в самом конце жизни, в «Братьях Карамазовых», он освободился от нее, превратив ее в создание искусства. Это, конечно, не значит, что Федор Павлович Карамазов – портрет Михаила Андреевича. Достоевский свободно распоряжается материалом жизни. Но «идея» отца Карамазова, несомненно, внушена образом отца Достоевского [МОЧУЛЬСКИЙ. С. 11].

Здесь следует внести уточнение: трагическая смерть отца имела место не в детстве писателя, а в зрелом возрасте, когда ему было 28 лет. Интересно, что Сигмунд Фрейд – величайший знаток человеческой психики, рисуя, опираясь на свой метод психоанализа, психопатологический портрет Достоевского, утверждал в статье «Достоевский и отцеубийство» (1928), что тот «подсознательно жаждал гибели своего отца»⁵⁹.

Что же касается падучей, то по свидетельству Всеволода Соловьева сам писатель говорил о своей болезни следующее:

– Еще за два года до Сибири, во время разных моих литературных неприятностей и ссор, у меня открылась какая-то странная и невыносимо мучительная нервная болезнь. Рассказать я не могу этих отвратительных ощущений; но живо их помню; мне часто казалось, что я умираю, ну вот право – настоящая смерть приходила и потом уходила. Я боялся тоже летаргического сна. И странно – как только я был арестован – вдруг вся эта моя отвратительная болезнь прошла, ни в пути, ни на каторге в Сибири, и никогда потом я ее не испытывал – я вдруг стал бодр, крепок, свеж, спокоен... Но во время каторги со мной случился первый припадок падучей, и с тех пор она меня не покидает. Все, что было со мною до этого первого припадка, каждый малейший случай из моей жизни, каждое лицо, мною встреченное, все, что я читал, слышал – я помню до мельчайших подробностей. Все, что началось после первого

Центральную Россию.

⁵⁹ Свой анализ психического состояния Достоевского Фрейд иллюстрирует примерами из «Братьев Карамазовых», т. к. этот роман наряду с «Царем Эдипом» Софокла и «Гамлетом» Шекспира разрабатывает тему отцеубийства. Наиболее полно эта тема раскрыта в «Эдипе», где главный герой сам убивает отца: даже тот факт, что он сделал это по незнанию, не облегчает мук его совести, так как это убийство стало осуществлением его бессознательного желания. В трагедии Шекспира преступление совершает другой человек, однако вопреки логике главный герой не мстит ему за убийство своего отца: он оказывается парализован чувством собственной вины, ведь он тоже желал отцу смерти. В романе Достоевского убийство также совершает другой человек, который тоже является сыном убитого. Фрейд полагает, что в данном случае не важно, кто именно осуществил убийство: равно виновными с точки зрения психологии оказываются все братья, желавшие смерти отцу. Отметим, не углубляясь в анализ темы, что выводы Фрейда касательно личности Достоевского вызвали жесткую критику со стороны многих специалистов.

припадка, я очень часто забываю, иногда забываю совсем людей, которых знал хорошо, забываю лица. Забыл все, что написал после каторги; когда дописывал «Бесы», то должен был перечитать все сначала, потому что перезабыл даже имена действующих лиц... [СОЛОВЬЕВ Вс. С.].

Примечательно, что сам писатель в своих воспоминаниях о детских годах, как свидетельствует его жена Анна Григорьевна Достоевская, всегда рисовал идиллическую картину теплого, дружного семейства. Н. Страхов пишет в «Воспоминаниях:

С чрезвычайной ясностью в нем (Достоевском) обнаруживалось особого рода раздвоение, состоящее в том, что человек предается очень живо известным мыслям и чувствам, но сохраняет в душе неподдающуюся и неколеблющуюся точку, с которой смотрит на самого себя, на свои мысли и чувства. Он сам иногда говорил мне об этом свойстве и называл его рефлексией». <...> Но никто не заметил того, что Достоевский, понимая себя, также хорошо мог понимать и других. Понимание людей лишало Достоевского равновесия, необходимого при общении с ними.

<...> Достоевского не понимали чужие, не понимали родные, резко критиковали и осуждали друзья. В этих условиях чувство одиночества все чаще овладевало писателем [ГРИШИН (I). С. 17]

В русском общественном сознании Достоевский, как писатель и мыслитель, всегда воспринимался двояко, о чем очень ярко свидетельствуют воспоминания современников [ФМД-ВС]. Очень многие из числа демократов-народников и социалистов выступали в качестве его жестких критиков. Неприемлемыми для либерально-демократической и революционной части русского общества представлялась консервативно-охранительская активность Достоевского, а в его экзистенциально-христологической проповеди усматривали то очевидное обстоятельство, что «страстным возвеличением страдания» он приучает общество к покорному восприятию жестокостей и насилия (подробно об этом см. в Гл. II).

Со своей стороны, горячие поклонники Достоевского из числа главным образом православных и консервативно ориентированных мыслителей, курили ему фимиам, превозносили до небес, называя великим психологом, пророческим духовидцем, а сегодня в России так даже «богословом». Однако в отличие от Льва Толстого⁶⁰, автора большого числа сугубо богословских публицистических сочинений – см., например, [УРАЛЬСКИЙ (III)], у Достоевского отсутствует систематическое изложение и истолкование христианского вероучения, догматов православной церкви, что собственно и является предметом богословия как научной дисциплины (теология – на Западе) в учебных заведениях (кафедра богословия в Московском университете появилась в 1819 г.). По этой причине характеристика «богослов» в отношении Достоевского – см. например [КАСАТКИНА (I)], не может считаться в научном отношении вполне корректной.

В работах Вл. Соловьева, К. Леонтьева и Н. Стрехова, по существу, была поставлена проблема конфессиональной определенности религиозных взглядов Достоевского. К этой теме в той или иной мере возвращались В. Розанов, Н. Бердяев и Д. Мережковский. Л. Шестов отмечал, что писатель был проповедником не христианства, а православия. Для многих русских читателей романы Достоевского являлись источниками православной веры.

<...>

⁶⁰ Два величайших представителя русской духовной культуры – Федор Достоевский и Лев Толстой, исторически и подчас в парадоксально ожесточенной форме (гл. образом в идейных дискурсах русской эмиграции) противопоставляются друг другу, как некие разнонаправленные, в идейном и художественном отношении, векторы.

Богословом в прямом смысле слова Достоевский не был, и, более того, с канонической точки зрения он, может быть, и недостаточно православный писатель. Он был прежде всего светским религиозным мыслителем, опережавшим современное ему богословие постановкой важнейших для его развития проблем. Так, в русском православном богословии XIX века не была еще развита библейская экзегеза и только начинала складываться своя экзегетическая традиция. Не был поставлен в православном богословии и библейский вопрос. Вопрос о Боге стал, по существу, определяющим в религиозных исканиях Достоевского и его героев [ЗВОЗНИКОВ. С. 178, 181].

Достоевский, вне всякого сомнения, относится к числу выдающихся религиозных мыслителей Новейшего времени. По мнению Николая Бердяева:

Толстой всю жизнь искал Бога, как ищет его язычник, природный человек, от Бога в естестве своем далекий. Его мысль была занята теологией, и он был очень плохой теолог. Достоевского мучит не столько тема о Боге, сколько тема о человеке и его судьбе, его мучит загадка человеческого духа. Его мысль занята антропологией, а не теологией. Он не как язычник, не как природный человек решает тему о Боге, а как христианин, как духовный человек решает тему о человеке. Поистине, вопрос о Боге – человеческий вопрос. Вопрос же о человеке – божественный вопрос, и, быть может, тайна Божья лучше раскрывается через тайну человеческую, чем через природное обращение к Богу вне человека. Достоевский не теолог, но к живому Богу он был ближе, чем Толстой. Бог раскрывается ему в судьбе человека⁶¹.

Для богословов консервативного направления Достоевский, страстно любящий Христа как идеал человеческой личности и человечности в целом⁶², но по существу игнорирующий его Божественную природу со всеми ее атрибутами, включая Чудо Воскресения – явно *не канонически мыслящий* православный. Хотя официально современные Достоевскому богословы декларировали, что:

В действительности он был просто – русский православный христианин, и православие, как самобытно-русский просвещающийся во Христе Боге дух поставил, и необычайное величие в нашем православии показал, отметив в нем такие стороны, каких никто раньше его не коснулся, и поставив в художественных образах такие философские и религиозные проблемы, над которыми долго-долго будут думать философ, художник, ученый, мыслитель [КУНИЛЬСКИЙ. С. 421, 424],

– некоторые из них высказывали критические суждения касательно его ортодоксальности. Например, в записках литератора Е.Н. Опочинина цитируется высказывание священника отца Алексия:

Вредный это писатель! <...> И хуже всего то, что читатель при всем том видит, что автор человек якобы верующий, даже христианин. В действительности же он вовсе не христианин, и все его углубления (sic!) суть одна лишь маска, скрывающая скептицизм и неверие [ОПОЧИНИН].

⁶¹ Бердяев Н. Мирозерцание Достоевского (1921), цитируется по [ЭР: ФМД]: URL: <http://dostoevskiy-lit.ru/dostoevskiy/kritika/berdyayev-mirosozercanie-dostoevskogo/berdyayev-i-duhovnyj-obraz-dostoevskogo.htm>. Отметим, что, называя Достоевского «глубоко христианским писателем» Бердяев в то же время подчеркивал его обособленность от «исторического православия».

⁶² О понятиях «Бог, Христос, человек» и самой «христологии» Достоевского см. в [ТИХОМИРОВ (I) и (II)].

В «Летописи жизни и творчества Ф.М. Достоевского» приводится сообщение из журнала «Искра» (№ 36–37 от 17 июня 1873 года) о том, что в некоей духовной семинарии «ректор застал одного семинариста за чтением “Идиота” Достоевского <...> и нашел такое чтение соблазнительным». Имеются свидетельства о трудностях, на которые натолкнулось намерение А.Г. Достоевской, похоронить мужа на монастырском кладбище – см. [ВОЛГИН (II). С. 490–495].

Тем не менее, мировоззренческие идеи Достоевского вместе с совершенно неприемлемыми с точки зрения церковной ортодоксии воззрениями Льва Толстого, легли в основу философии русского христианского персонализма – Н. Бердяев, о. С. Булгаков, С. Франк, Н. Лосский, Л. Шестов и др., а также оказали влияние на становление самого значительного направления философской мысли XX в. – экзистенциализма⁶³.

У истоков экзистенциализма стоит датский мыслитель Сёрен Кьеркегор (Киргегард), хотя он не использовал этот термин, введенный впервые в научный оборот Карл Ясперсом в его в работе «Духовная ситуация времени» (1931). Но уже 5 мая 1935 г., в докладе «Киргегард и Достоевский», прочитанном в религиозно-философской Академии⁶⁴, русский философ-персоналист Лев Шестов убедительно показал, что Достоевский, бывший младшим современником великого датчанина, является вместе с ним родоначальником этого направления философской мысли.

Киргегард, как и Достоевский, оба родившиеся в первой четверти XIX столетия (только Киргегард, умерший на 44 году и бывший старше Достоевского на десять лет, уже закончил свою литературную деятельность, когда Достоевский только начинал писать) и жившие в ту эпоху, когда Гегель был властителем дум в Европе <...>, видели свою жизненную задачу в борьбе и преодолении того строя идей, который гегелевская философия как итог развития европейской мысли воплотила в себе. Для Гегеля разрыв естественной связи явлений, знаменующий собой власть Творца над миром и его всемогущество, – невыносимая и самая страшная мысль: это есть для него «насилие над духом». Он высмеивает библейские повествования – все они принадлежат к «истории», говорят только о «конечном», которое человек, желающий жить в духе и истине, должен стряхнуть с себя. Это он называет «примирением» религии и разума, таким образом религия получает свое оправдание через философию, которая усматривает в многообразии религиозных построений «необходимую истину» и в ней, в этой необходимой истине, открывает «вечную идею». Несомненно, что разум получает таким образом полное удовлетворение. Но что осталось от религии, оправдавшейся таким образом перед разумом? Несомненно тоже, что, сведя содержание «абсолютной религии» к единству божественной и человеческой природы, Гегель, и всякий, кто за ним шел, становился «знающим», как обещал Адаму искушитель, соблазнявший его плодами с запретного дерева, – т. е. обнаружил

⁶³ Экзистенциализм (фр. *existentialisme* от лат. *existentia* – существование), направление в философии XX века, акцентирующее своё внимание на уникальности бытия человека. Экзистенциализм развивался параллельно родственным направлениям персонализма и философской антропологии, от которых он отличается, прежде всего, идеей *преодоления* (а не *раскрытия*) человеком собственной сущности и большим акцентом на глубину эмоциональной природы, см. [НФС] и [НФЭ].

⁶⁴ Деятельность эмигрантской парижской Религиозно-философской академии (1922–1940), наследницы московской Вольной академии духовной культуры (1919–1923), основанной Николаем Бердяевым (он же был их ректором), финансировалась YMCA (Young Men's Christian Association) – международной Организацией христианской молодежи, созданной в 1844 г. в Англии для воспитания молодежи в духе толерантности и экуменизма. Эмблема современной организации – равносторонний треугольник, символизирующий гармоничное развитие интеллектуальной, физической и духовной сторон человека. Консервативной частью православного клира YMCA считается «масонской» организацией.

в Творце ту же природу, которая ему открыта в его собственном существе. Но затем ли мы идем к религии, чтобы приобрести знание? <...>

Киркегард тоже учился у древних и в молодости был страстным поклонником Гегеля. И лишь тогда, когда, по воле судьбы, он почувствовал себя целиком во власти той необходимости, к которой так жадно стремился его разум, – он понял глубину и потрясающий смысл библейского повествования о падении человека. Веру, определявшую собой отношение твари к Творцу и знаменовавшую собой ничем не ограниченную свободу и беспредельные возможности, мы променяли на знание, на рабскую зависимость от мертвых и мертвящих вечных принципов. Можно ли придумать более страшное и более роковое падение? И тогда Киркегард почувствовал, что начало философии – не удивление, как учили греки, а отчаяние <...>. И что у «частного мыслителя» Иова можно найти такое, что не приходило на ум прославленному философу и знаменитому профессору. В противоположность Спинозе и тем, кто до и после Спинозы искал в философии «понимания» (*intelligere*) и возводил человеческий разум в судьи над самим Творцом, Иов своим примером учит нас, что, чтоб постичь истину, нужно не гнать от себя и не возбранять себе «*lugere et detestari*» <«плакать и проклинать» (лат. >, а из них исходить. Знание, т. е. готовность принять за истину то, что представляется самоочевидным, т. е. то, что усматривается «открывшимися» у нас после падения глазами (<...> у Гегеля – «духовное» зрение), неизбежно ведет человека к гибели. «Праведник жив будет верой», – говорит Пророк, и Апостол повторяет за ним эти слова. «Все, что не от веры, есть грех» – только этими словами мы можем защищаться от искушения «будете знающими», которым прельстился первый человек и во власти которого находимся мы все. Отвергнутым умозрительной философией «*lugere et detestari*», плачу и взыванию Иов возвращает их исконные права: права выступать судьями, когда начинаются изыскания о том, где истина и где ложь. «Человеческая трусость не может вынести того, что нам рассказывают безумие и смерть», и люди отворачиваются от ужасов жизни и довольствуются «утешениями», заготовленными философией духа. «Но Иов, – продолжает Киркегард, – доказал широту своего мировоззрения той непоколебимостью, которую он противопоставил ухищрениям и коварным нападкам этики» (т. е. философии духа: друзья Иова говорили ему то же, что впоследствии возвестил Гегель в своей «Философии духа». И еще: «величие Иова в том, что пафос его нельзя разрядить и удушить лживыми посулами и обещаниями» (все той же философией духа). И, наконец, последнее: «Иов благословен. Ему вернули все, что у него было. И это называется повторением. Когда наступает повторение? На человеческом языке этого не скажешь: когда всяческая мыслимая для человека несомненность и вероятность говорит о невозможном».

<...> Соответственно этому для Киркегарда «понятие, противоположное греху, есть не добродетель, а свобода» и тоже «противоположное понятие греху есть вера». Вера, только вера освобождает от греха человека; вера, только вера может вырвать человека из власти необходимых истин, которые овладели его сознанием после того, как он отведал плодов с запретного дерева. И только вера дает человеку мужество и силы, чтобы глядеть в глаза смерти и безумию и не склоняться безвольно пред ними. «Представьте себе, – пишет Киркегард, – человека, который со всем напряжением испуганной фантазии вообразил себе нечто неслыханно ужасное, такое ужасное, что

вынести его совершенно невозможно. И вдруг это ужасное встретилось на его пути, стало его действительностью. По человеческому разумению – гибель его неизбежна... Но для Бога – все возможно. В этом и состоит борьба веры: безумная борьба о возможности. Ибо только возможность открывает путь к спасению... В последнем счете остается одно: для Бога все возможно. И тогда только открывается дорога вере. Верят только тогда, когда человек не может уже открыть никакой возможности. Бог значит, что все возможно, и что все возможно – значит Бог. И только тот, чье существо так потрясено, что он становится духом и постигает, что все возможно, только тот подошел к Богу». Так пишет Киргегард в своих книгах, то же непрерывно повторяет он и в своем дневнике.

И тут он до такой степени приближается к Достоевскому, что можно, не боясь упрека в преувеличении, назвать Достоевского двойником Киргегарда. Не только идеи, но и метод разыскания истины у них совершенно одинаковы и в равной мере не похожи на то, что составляет содержание умозрительной философии. От Гегеля Киргегард ушел к частному мыслителю – Иову. То же сделал и Достоевский. Все эпизодические вставки в его больших романах – «Исповедь Ипполита» в «Идиоте», размышления Ивана и Мити в «Братьях Карамазовых», Кириллова – в «Бесах», его «Записки из подполья» и его небольшие рассказы, опубликованные им в последние годы жизни в «Дневнике писателя» («Сон смешного человека», «Кроткая»), – все они, как у Киргегарда, являются вариациями на темы «Книги Иова» [ШЕСТОВ (II)].

Однако в России XIX в. ведущими мировоззренческими направлениями являлись сначала шеллингианство, а затем и гегелевская философия, в самых разных ее модификациях – вплоть до марксизма. Николай Страхов, сильно повлиявший на становление мировоззрения Достоевского:

На гегелевскую философию <...> смотрел, как на завершение того мышления, которое стремится к органическому пониманию вещей. Гегель «возвел философию на степень науки, поставил ее на незыблемом основании, и если его система должна бороться с различными мнениями, то именно потому, что все эти мнения односторонни, исключительны». Несмотря на это, Страхова нельзя назвать гегельянцем в тесном смысле этого слова: он преклонялся перед немецкой идеалистической философией вообще, в которой видел синтез религиозного и рационалистического элементов [«Страхов (Николай Николаевич)» ЭСБЭ. Т. 62].

Достоевский, свободно владевший немецким, в частности был хорошо знаком трудами Канта. Яков Голосковер в своей книге «Достоевский и Кант» показывает, насколько «проницательно» читал писатель немецкого философа. Анализируя роман «Братья Карамазовы», он представляет его

не только в фабульном (читательском) плане, но и в плане скрытом (авторском), т. е. в подтексте. <Подтекст в свою очередь> раскрывается им одновременно и как полемика писателя Достоевского с философом Кантом, и как непрерывный поединок между героями романа, и как поединок между персонифицированными Достоевским в романе положениями Канта об антиномиях, именуемыми Кантом «тезис» и «антитезис». И даже там, где у Достоевского и Канта точки зрения как будто совпадают, всеобщий поединок не только не прекращается, а разгорается с новой силой, ибо утверждение

Достоевского, что в жизни «все противоречия вместе живут», никогда не теряло для него своей остроты [ГОЛОСКОВЕР. С. 3].

Что касается таких близких в мировоззренческом отношении Достоевскому философов, как Шопенгауэр и Ницше, то в его эпоху они были известны лишь узкому кругу русских интеллектуалов (в частности, например, тому же Страхову, а также Льву Толстому). Не удивительно, что философские откровения Достоевского воспринимались большинством современников как интеллектуальные *парадоксы*: что, отметим, для гегельянства неприемлемо, а для экзистенциализма – закономерно. Однако же концепция «почвенности», выдвинутая Достоевским, в свете гегелевской «диалектической триады»⁶⁵ представляется закономерным результатом опосредования (разрешения в синтезе) борьбы противоположностей типа «славянофильство» – «западничество». Как отмечает Николай Бердяев:

Достоевский более всего свидетельствует о том, что славянофильство и западничество одинаково подлежат преодолению, но оба направления пойдут в русскую идею, как и всегда бывает в творческом преодолении (*Aufhebung* у Гегеля) [БЕРДЯЕВ (II)].

Интересно, опять-таки как парадокс, восприятие творчества Достоевского его хорошим знакомым Константином Леонтьевым – мыслителем, известным своей правоконсервативной реакционностью. В письме к В.В. Розанову от 8 мая 1891 г. (Оптина Пустынь) он, например, утверждал, что:

У него <Достоевского> взят почти всюду тон старости, даже тон брызжащего старикашки [Пер К.Н.Л.-В.В.Р.],

– а в другом письме к нему же, ссылаясь на Владимира Соловьева, заявлял, что:

Достоевский горячо верил в существование религии и нередко рассматривал ее в подзорную трубу, как отдаленный предмет, но стать на действительно религиозную почву никогда не умел.

Впрочем, современные российские комментаторы убеждены, что приводимое Константином Леонтьевым соловьевское высказывание на самом деле ему не принадлежит, т. к.

диаметрально противоположно по смыслу более ранним его «Трем речам в память Достоевского» и его же «Заметке в защиту Достоевского от обвинения в “новом” христианстве» (Русь. 1883. № 9) по поводу труда К.Н. Леонтьева «Наши новые христиане...», в которых Соловьев, наоборот, утверждал, что Достоевский всегда стоял на «действительно религиозной почве». <...> «по-видимому, сведения, исходящие от Леонтьева, требуют осторожного отношения ввиду того, что из-за присущей ему странной захваченности в любом принципиальном споре он часто переакцентирует и перекраивает сообщаемые факты и мнения <...>. Подобные казусы заставляют предположить, что Леонтьев столь же произволен, когда он сообщает высокомерный отзыв Соловьева о религиозности Достоевского, будто бы содержащийся в одном из писем Соловьева, которое Леонтьев цитирует явно по памяти и без указания даты»⁶⁶.

⁶⁵ В спекулятивной логике Гегеля – это объединение каких-либо двух противоположных понятий (тезис и антитезис) и какого-либо третьего понятия, которое опосредует (то есть выражает) внутреннее единство двух противоположных понятий: «Диалектика Гегеля кратко и понятно, с примерами»: URL: <https://zen.yandex.ru/media/edstar/dialektika-gegelia-kratko-i-poniatno-s-primerami-5a678ea49b403c6678746753>

⁶⁶ [ЭР: ФМД]: URL: https://fedordostoevsky.ru/around/Soloviev_V_S/

Сам факт дружбы и горячей взаимной симпатии христианского антисемита Достоевского и христианского филосемита В.С. Соловьева в контексте нашей темы исключительно интересен. Он в частности косвенно свидетельствует об отсутствии должного «фанатизма» (самоопределение К. Леонтьева в одном из писем его о встрече и беседе со Л. Толстым о вере и православии в Оптиной пустыни⁶⁷) у Достоевского в еврейском вопросе, т. к. Вл. Соловьев был убежденным филосемитом. Впоследствии Вл. Соловьев при всем своем благоговении перед личностью Достоевского являлся одним жестких критиков его национализма и антисемитских воззрений [ТЕСЛЯ (IV)].

Все годы общения писатель относился к Вл. Соловьеву с большой теплотой. По словам Анны Григорьевны Достоевской лицо молодого философа напоминало её мужу любимую им картину «Голова молодого Христа» Аннибале Карраччи. Согласно преданию духовный облик Владимира Соловьёва отразился в образе Алёши Карамазова, любимого героя Достоевского [ВОЛГИН (II). С. 69].

Знакомство Соловьева с Достоевским состоялось в начале 1873 г. <...> Жена писателя А.Г. Достоевская вспоминает: «В эту зиму <1873 г.> нас стал навещать Владимир Сергеевич Соловьев, тогда еще очень юный, только что окончивший свое образование. Сначала он написал письмо Федору Михайловичу, а затем, по приглашению его, пришел к нам. Впечатление он производил тогда очаровывающее, и чем чаще виделся и беседовал с ним Федор Михайлович, тем более любил и ценил его ум и солидную образованность.

<...> «Начиная с 1873 г. вплоть до кончины писателя Соловьев присутствует в жизненном мире Достоевского как репрезентативная фигура Соловьев присутствует в жизненном мире Достоевского как репрезентативная фигура <...>. Сфера человеческих отношений, объединяющая Достоевского и Соловьева, – это столько же литературно-общественные салоны с их благотворительными вечерами и необязательным интересом к высшим предметам, сколько целеустремленный мир идейной молодежи, часть которой в эти годы увидела реальное жертвенное дело в помощи славянам, страдающим под турецким владычеством...».

Достоевский, несомненно, оценил натуру Соловьева, его бескорыстие, беззаветную преданность высоким христианским идеалам, однако излишняя отвлеченность его религиозного учения вызвала у бывшего каторжанина дружескую шутку.

Уже в первый год знакомства Соловьев вошел в постоянное окружение Достоевского, что видно из письма Соловьева к Достоевскому от 23 декабря 1873 г.: «Милостивый Государь многоуважаемый Федор Михайлович, собирался сегодня заехать проститься с Вами, но, к величайшему моему сожалению, одно неприятное и непредвиденное обстоятельство заняло все утро, так что никак не мог заехать. Вчера, когда Н.Н. Страхов нашел Вашу записку на столе, я догадался, что это вас я встретил на лестнице, но по близорукости и в полумраке не узнал. Надеюсь еще увидеться; впрочем,

⁶⁷ В письме к Т.И. Филиппову от 14 марта 1890 г. Леонтьев сообщал, что во время этого разговора он сказал Толстому: Жаль, Лев Николаевич, что у меня мало фанатизма. А надо бы написать в Петербург, где у меня есть связи, чтобы вас сослали в Томск и чтобы не позволили ни графине, ни дочерям вашим даже и посещать вас, и чтобы денег вам высылали мало. А то вы положительно вредны». На это Лев Николаевич с жаром воскликнул: «Голубчик, Константин Николаевич! Напишите, ради бога, чтоб меня сослали. Это моя мечта. Я делаю все возможное, чтобы компрометировать себя в глазах правительства, и все сходит мне с рук. Прошу вас, напишите». (См. сборник «Памяти Константина Николаевича Леонтьева», СПб. 1911, стр. 135);[ЭР: ЛНТ]: URL: <http://tolstoy-lit.ru/tolstoy/pisma-o-tolstom/letter-136.htm>

осенью буду в Петербурге. С глубочайшим уважением и преданностью остаюсь Ваш покорный слуга Вл. Соловьев. Передайте мое почтение Анне Григорьевне».

<...>

Чаще всего Достоевский и Соловьев встречались с конца 1877 г. по осень 1878 г., когда Достоевский регулярно посещал «чтения о Богочеловечестве», – лекции, которые Соловьев с огромным успехом читал в Соляном городке в Петербурге. А.Г. Достоевская вспоминает о том, как после смерти их сына Алеши <...>, Соловьев вместе с Достоевским в июне 1878 г. ездили в Оптину пустынь: «Чтобы хоть несколько успокоить Федора Михайловича и отвлечь его от грустных дум, я упросила. Вл. С. Соловьева, посещавшего нас в эти дни нашей скорби, уговорить Федора Михайловича поехать с ним в Оптину пустынь, куда Соловьев собирался ехать этим летом. Посещение Оптиной пустыни было давнишнею мечтою Федора Михайловича, но так трудно было это осуществить. Владимир Сергеевич согласился мне помочь и стал уговаривать Федора Михайловича отправиться в Пустынь вместе. Я подкрепила своими просьбами, и тут же было решено, что Федор Михайлович в половине июня приедет в Москву (он еще ранее намерен был туда ехать, чтобы предложить Каткову свой будущий роман) и воспользуется случаем, чтобы съездить с Вл. С. Соловьевым в Оптину пустынь. Одного Федора Михайловича я не решилась бы отпустить в такой отдаленный, а главное, в те времена столь утомительный путь. Соловьев, хотя и был, по моему мнению, «не от мира сего», но сумел бы уберечь Федора Михайловича, если б с ним случился приступ эпилепсии».

История этой поездки может быть дополнена ответом Соловьева от 12 июня 1878 г. на не дошедшее до нас письмо к нему Достоевского, озабоченного устройством поездки: «Многоуважаемый Федор Михайлович, сердечно благодарю за память. Я *наверно* буду в Москве около 20 июня, т. е. если не в самой Москве, то в окрестностях, откуда меня легко будет выписать в случае Вашего приезда, о чем и распоряжусь. Относительно поездки в Оптину пустынь, наверно не могу сказать, но постараюсь устроиться. Я жив порядком, только мало сплю и потому стал раздражителен. До скорого свидания. Передайте мое почтение Анне Григорьевне. Душевно преданный Вл. Соловьев».

Во время совместной поездки в Оптину пустынь Достоевский изложил Соловьеву «главную мысль», а отчасти и план целой серии задуманных романов, из которых были написаны только «Братья Карамазовы». 6 апреля 1880 г. Достоевский присутствовал на защите Соловьевым докторской диссертации «Критика отвлеченных начал». Достоевский приветствовал диссертацию молодого философа, причем особенно привлекала Достоевского близкая ему по своей сути мысль, высказанная Соловьевым, о том, что «человечество <...> *знает гораздо более*, чем до сих пор успело высказать в своей науке и в своем искусстве» (письмо Достоевского к Е.Ф. Юнге от 11 апреля 1880 г.).

Духовное общение с Соловьевым отразилось в круге нравственных тем и образов «Братьев Карамазовых».

<...> сохранилась записка А. Г. Достоевской под заглавием: «К письмам ко мне Вл. Соловьева»: «Владимир Сергеевич Соловьев принадлежал к числу пламенных поклонников ума, сердца и таланта моего незабвенного мужа и

искренно сожалел о его кончине. Узнав, что в память Федора Михайловича предполагается устройство народной школы, Владимир Сергеевич выразил желание содействовать успеху устраиваемых для этой цели литературных вечеров. Так, он участвовал в литературном чтении 1 февраля 1882 года; затем в следующем году, 19-го февраля, произнес на нашем вечере в пользу школы (в зале Городского кредитного общества) речь, запрещенную министром, и, несмотря на запрещение, им прочитанную, и имел у слушателей колоссальный успех. Предполагал Владимир Сергеевич участвовать в нашем чтении и в 1884 году, но семейные обстоятельства помешали ему исполнить свое намерение. По поводу устройства этих чтений мне пришлось много раз видаться и переписываться с Владимиром Сергеевичем, и я с глубокою благодарностью вспоминаю его постоянную готовность послужить памяти моего мужа, всегда так любившего Соловьева и столь много ожидавшего от его деятельности, в чем мой муж и не ошибся. А<нна> Д<остоевская>».

После смерти Достоевского Соловьев выступил с речью на Высших женских курсах 30 января 1881 г., на могиле Достоевского (напечат. в кн.: *Соловьев Вл. С.* Философия искусства и литературная критика. М., 1991. С. 223–227) и с тремя речами, в которых впервые подчеркнул высокие христианские идеалы писателя: «Итак – церковь, как положительный общественный идеал, как основа и цель всех наших мыслей и дел, и всенародный подвиг, как прямой путь для осуществления этого идеала – вот последнее слово, до которого дошел Достоевский, которое озарило всю его деятельность пророческим светом» (*Соловьев Вл. С.* Три речи в память Достоевского. М., 1884. С. 10).

<...> В частности, к Соловьеву Достоевский мог бы отнести слова, какими он рекомендует читателям Алешу Карамазова: «...это человек странный, даже чужак <...>. Чужак же в большинстве случаев частность и обособление. Не так ли? – см. «Соловьев Владимир Сергеевич» в [ЭР: ФМД].

В свете этой авторской рекомендации своего любимого героя отметим, что и фигура Федора Достоевского в глазах многих его современников смотрелась явно выходящей из ряда вон. Одним из *парадоксов* Достоевского – великого гуманиста, поборника братской любви, добра и света, является его мизантропия, неуживчивость и скверный характер. Эти качества личности писателя стали притчей во языцех мемуаристики. Вот, например, иллюстрирующий сей факт фрагмент из «Воспоминаний» Авдотьи Панаевой:

Достоевский пришел к нам в первый раз вечером с Некрасовым и Григоровичем, который только что вступал на литературное поприще. С первого взгляда на Достоевского видно было, что это страшно нервный и впечатлительный молодой человек. Он был худенький, маленький, белокурый, с болезненным цветом лица; небольшие серые глаза его как-то тревожно переходили с предмета на предмет, а бледные губы нервно передергивались.

Почти все присутствовавшие тогда у нас уже были ему знакомы, но он, видимо, был сконфужен и не вмешивался в общий разговор. Все старались занять его, чтобы уничтожить его застенчивость и показать ему, что он член кружка. С этого вечера Достоевский часто приходил вечером к нам. Застенчивость его прошла⁶⁸, он даже выказывал какую-то задорность, со

⁶⁸ Здесь примечательно воспоминание исторического романиста Всеволода Соловьева о его первой встрече с Достоевским в 1873 г.: «Знаете ли, что я удивительно неловок, конфузлив до болезни и иногда способен молчать как убитый... Если я сегодня, с вами, не таков, то ведь это потому, что я много лет ждал сегодняшнего вечера, тут совсем другое... – Нет, вас непременно

всеми заводил споры, очевидно из одного упрямства противоречил другим. По молодости и нервности, он не умел владеть собой и слишком явно высказывал свое авторское самолюбие и высокое мнение о своем писательском таланте. Ошеломленный неожиданным блистательным первым своим шагом на литературном поприще и засыпанный похвалами компетентных людей в литературе, он, как впечатлительный человек, не мог скрыть своей гордости перед другими молодыми литераторами, которые скромно выступили на это поприще с своими произведениями. С появлением молодых литераторов в кружке беда была попасть им на зубок, а Достоевский, как нарочно, давал к этому повод своею раздражительностью и высокомерным тоном, что он несравненно выше их по своему таланту. И пошли перемывать ему косточки, раздражать его самолюбие уколами в разговорах; особенно на это был мастер Тургенев – он нарочно втягивал в спор Достоевского и доводил его до высшей степени раздражения. Тот лез на стену и защищал с азартом иногда нелепые взгляды на вещи, которые сболтнул в горячности, а Тургенев их подхватывал и потешался⁶⁹.

У Достоевского явилась страшная подозрительность вследствие того, что один приятель передавал ему все, что говорилось в кружке лично о нем и о его «Бедных людях». Приятель Достоевского, как говорят, из любви к искусству, передавал всем кто о ком что сказал. Достоевский заподозрил всех в зависти к его таланту и почти в каждом слове, сказанном без всякого умысла, находил, что желают умалить его произведение, нанести ему обиду.

Он приходил уже к нам с накипевшей злобой, придирался к словам, чтобы излить на завистников всю желчь, душившую его. Вместо того чтобы снисходительнее смотреть на больного, нервного человека, его еще сильнее раздражали насмешками.

<...>

Однажды явился в редакцию Достоевский, пожелавший переговорить с Некрасовым. Он был в очень возбужденном состоянии. Я ушла из кабинета Некрасова и слышала из столовой, что оба они страшно горячились; когда Достоевский выбежал из кабинета в переднюю, то был бледен как полотно и никак не мог попасть в рукав пальто, которое ему подавал лакей; Достоевский вырвал пальто из его рук и выскочил на лестницу. Войдя к Некрасову, я нашла его в таком же разгоряченном состоянии.

– Достоевский просто сошел с ума! – сказал Некрасов мне дрожащим от волнения голосом.

– Явился ко мне с угрозами, чтобы я не смел печатать мой разбор его сочинения в следующем номере. И кто это ему наврал, будто бы я всюду читаю сочиненный мною на него пасквиль в стихах! До бешенства дошел [ПАНАЕВА].

А вот, что вспоминал о молодом Федоре Достоевском сам Некрасов:

нужно вылечить – ваша болезнь мне хорошо понятна, я сам страдал от нее не мало... Самолюбие, ужасное самолюбие – отсюда и конфузливость... Вы боитесь впечатления, производимого вами на незнакомого человека, вы разбираете ваши слова, движения, упрекаете себя в бестактности некоторых слов, воображаете себе то впечатление, которое произведено вами – и непременно ошибаетесь: впечатление произведено непременно другое; а все это потому, что вы себе представляете людей гораздо крупнее, чем они есть; люди несравненно мельче, простее, чем вы их себе представляете... [СОЛОВЬЕВ Вс. С.].

⁶⁹ Насмешник Тургенев написал после громкого успеха первого романа Достоевского «Бедные люди» сатирическое стихотворение «Послание Белинского к Достоевскому», в котором в частности были такие строки: Рыцарь горестной фигуры! Достоевский, юный пыщ, На носу литературы Рдеешь ты, как новый прыщ [ТУРГЕНЕВ-ПСС. Т. 1. С. 332].

В минуты сильной робости он имел привычку съеживаться, уходить в себя до такой степени, что обыкновенная застенчивость не могла подать о состоянии его ни малейшего понятия. Оно могло быть только охарактеризовано им же самым изобретенным словом «стушеваться».

Лицо его все вдруг осовывалось, глаза исчезали под веками, голова уходила в плечи, голос всегда удушливый, окончательно лишался ясности и свободы, звуча так, как будто гениальный человек находился в пустой бочке, недостаточно наполненной воздухом, и притом его жесты, отрывочные слова, взгляды и беспрестанные движения губ, выражающие подозрительность и опасение, имели что-то до такой степени трагическое, что смеяться не было возможности [ЧУКОВСКИЙ. С. 356].

Итак, уже в самом начале своей карьеры Достоевский заявил себя человеком, со скверным характером. Пожалуй, он единственный в истории русской литературы писатель, который,

по его собственному выражению, «завел процесс со всею литературою, журналами и критиками». Все бывшие друзья, включая Тургенева, Некрасова, Белинского, стали его врагами. К концу жизни положение не улучшилось. 15 октября 1880 года в письме к П. Гусевой Достоевский сообщает: «С «Огоньком» я не знаюсь, да и заметьте тоже, что ни с одной Редакцией не знаюсь. Почти все мне враги – не знаю за что», а 18 октября 1880 года, т. е. через три дня, в письме к М. Поливановой Достоевский пишет, что к нему приносят начинающие писатели свои рукописи и просят «пристроить их в какой-нибудь журнал, Вы де со всеми редакциями знакомы, а я ни с одной не знаком, да и не хочу знаться... И всех то я обозлил, все то меня ненавидят. Здесь в литературе и журналах не только ругают меня как собаки, но под рукой пускают на меня разные клеветливые и недостойные сплетни» [ГРИШИН (I). С. 13].

Если проследить все дружеские связи Достоевского, то бросается в глаза, в том числе по его замечаниям в записках о близких знакомых⁷⁰, что с мужчинами, даже в своем кругу, чувствовал он себя не в своей тарелке, словно всегда ждал от них подвоха, язвительного укуса, и в любой момент готовился огрызнуться. Одним из примеров является его отношение к Ивану Гончарову, с которым он был по жизни близко знаком и, несмотря близость мировоззрения – автор «Обломова» был по своим убеждениям типичный русский консерватор-охранитель, при всем своем публично выдаваемом уважении и дружелюбии, явно терпеть не мог. Так, например, он

писал своему другу А.Е. Врангелю 9 ноября 1856 г. о Гончарове: «С душою чиновника, без идей, и с глазами вареной рыбы, которого Бог, будто на смех, одарил блестящим талантом». Очевидно, под влиянием этих неблагоприятных отзывов Достоевского о личности весьма уважаемого им, впрочем, писателя сложилось и отрицательное мнение о личности Гончарова жены писателя А.Г. Достоевской. «Как-то раз в парке мы встретили писателя И.А. Гончарова, – вспоминает А.Г. Достоевская о встрече в Баден-Бадене в июле 1867 г., – с которым муж и познакомил меня. Видом своим он мне напомнил петербургских чиновников, разговор его тоже показался мне заурядным, так что я была несколько разочарована новым знакомством и

⁷⁰ Наиболее яркий пример здесь – философ Н.Н. Страхов, являвшийся в глазах общественности близким другом, единомышленником и сподвижником Достоевского, см. подробнее о нем в Гл. V.

даже не хотела верить тому, что это – автор “Обломова”, романа, которым я восхищалась»⁷¹.

Достоевский всегда внимательнейшим образом и даже ревниво следил за творчеством Гончарова, с которым почти в один год дебютировал на литературном поприще: их романы – «Бедные люди» и «Обыкновенная история» появились, практически в одно время: в 1846-м и в начале 1847 года. Гончаров – отпрыск очень богатой купеческой фамилии, к тому же, в отличие от Достоевского, служивший и занимавший высокие должности в цензурном комитете (он имел чин «действительный статский советник»), был человеком весьма и весьма состоятельным. Все это явно болезненно ранило самолюбие Достоевского. Например, в письме из Женевы от 6 (28) августа 1867 г. он с завистливым сарказмом рассказывает А.Н. Майкову:

В самом начале, как только что я приехал в Баден, на другой же день я встретил в воксале Гончарова. Как конфузился меня вначале Иван Александрович. Этот статский или действительный статский советник тоже поигрывал. Но так оказалось, что скрыться нельзя, а к тому же я сам играю с слишком грубою откровенностью, то он и перестал от меня скрываться. Играл он с лихорадочным жаром (в маленькую, на серебро), играл все 2 недели, которые прожил в Бадене, и, кажется, значительно проигрался. Но дай Бог ему здоровья, милому человеку: когда я проигрался дотла (а он видел в моих руках много золота) он дал мне, по просьбе моей, 60 франков займа. Осуждал он, должно быть, меня ужасно: «Зачем я всё проиграл, а не половину, как он?» [ДФМ-ПСС. Т. 28. Кн. 2. С. 208–210].

Самый знаменитый роман Гончарова «Обломов» Достоевский то горячо хвалил, то резко критиковал:

Например, в письме к брату М.М. Достоевскому от 9 мая 1859 г. Достоевский называет роман «Обломов» «отвратительным», в приписываемой Достоевскому рецензии «Гаваньские чиновники в домашнем быту, или галерная гавань во всякое время дня и года (Пейзаж и жанр) Ивана Генслера. Библиотека для чтения. Ноябрь и декабрь 1860», Достоевский отмечал: «Попробуйте, например, сказать... ну хоть г-ну Х. [И. А. Гончарову], одному из известных наших писателей, что прославленный роман его [«Обломов»] не выдерживает критики, что герой его утрирован, что весь роман растянут и, несмотря на прекрасные детали, скучен; что героиня его хороша и привлекательна только в романе, благодаря той неопределенности очертаний, которая выпала на долю литературы как искусства, но что в жизни героиня эта пренесноснейшее существо, сущее наказание своего мужа. Прибавьте к этому похвалы некоторым второстепенным лицам, некоторым прекрасным страницам. Сделайте всё это, сделайте это как можно мягче и деликатнее, и известный литератор скажет, что его обругали». Однако в письме к А.Н. Майкову от 12(24) февраля 1870 г. Достоевский ставит «Обломова» «по силе» в один ряд с «Мертвыми душами», «Дворянским гнездом» и «Войной и миром». В записной книжке Достоевского 1864–1865 гг. содержится сугубо отрицательная характеристика Обломова: «Обломов. Русский человек много и часто грешит против любви; но и первый страдалец за это от себя. Он палач себе за это. Это самое характеристичное свойство русского человека. Обломову же было бы только мягко – это только лентяй, да еще вдобавок эгоист. Это даже и не русский человек. Это продукт петербургский. Он

⁷¹ Цитируется по: [ЭР: ФМД]: URL: [https://fedordostoevsky.ru/ around/Goncharov_I_A/](https://fedordostoevsky.ru/around/Goncharov_I_A/)

лентяй и барич, но и барич – то уже не русский, а петербургский». Однако в «Дневнике писателя» за 1876 г. Достоевский отмечал: «Не буду упоминать о чисто народных типах, появившихся в наше время, но вспомните Обломова, вспомните "Дворянское гнездо" Тургенева. Тут, конечно, не народ, но всё, что в этих типах Гончарова и Тургенева векового и прекрасного, – всё это от того, что они в них соприкоснулись с народом; это соприкосновение с народом придало им необычайные силы. Они заимствовали у него его простодушие, чистоту, кротость, широкость ума и незлобие, в противоположность всему изломанному, фальшивому, наносному и рабски заимствованному»⁷²

В свою очередь приятели-единомышленники, даже самые по жизни близкие, тоже отзывались за глаза о Достоевском критически, а то и неприязненно. Так, например, в конце июня 1879 г. поэт Апполон Майков⁷³ писал своей жене:

...Что же это такое, наконец, что тебе говорила Анна Григорьевна <Достоевская>, что ты писать не хочешь? Что муж ее мучителен, в этом нет сомнения, – невозможностью своего характера, – это не новое, грубым проявлением любви, ревности, всяческих требований, смотря по минутной фантазии, – все это не ново. Что же так могло тебя поразить и потрясти? Не могу понять, хотя, признаюсь, часто у меня вопрос рождался, что они оба не по себе, т. е. не в своем уме, и где у них действительность, где фантазия – отличить трудно. Федор Михайлович, например, такие исторические факты приводит иногда, что ясно, что он их разве что видел во сне – например, что Петр Великий сам выкалывал глаза младенцам. Это он говорит или говорил серьезно, может быть, после и забыл. Насчет расточаемого им титула дураков – ключ вот какой: все, что не есть крайний славянофил, тот дурак. Словом, он в своей логике такой же абстракт, как и все головные натуры, как и нигилисты, такой же беспощадный деспот, судящий не по разуму жизни, а в силу отвлеченного понятия⁷⁴.

В кругу своих почитательниц женского пола Достоевскому, напротив, как правило, бывало уютно: ему внимали, затаив дыхание, и он, оттаяв, с огромным воодушевлением вещал. В личном общении он спускал женщинам-друзьям многое из того, что никогда бы не простил друзьям-сотоварищам мужского пола. Вот, например, фрагмент из воспоминаний одного из интимнейших его друзей – известной деятельницы женского движения в России в 1860-1880-х гг. Анны Павловны Филосововой. Как ни парадоксально! – эта дама держалась отнюдь не консервативно-охранительских, а явно критических и даже фрондерских по отношению российской действительности взглядов⁷⁵, но в отношениях с Достоевским это роли не играло:

⁷² Там же.

⁷³ Майков подарил Достоевскому сборник своих стихотворений «в знак давней и неизменной дружбы», печатался в журналах «Время» и «Эпоха», был восприемником всех детей Достоевского, неоднократно помогал ему материально, выполнял все его поручения, когда Достоевский с женой А.Г. Достоевской были за границей в 1867–1871 гг. и когда Майков являлся основным корреспондентом Достоевского, – цитируется по: [ЭР: ФМД]: URL: https://fedordostoevsky.ru/around/Maikov_A_N/

⁷⁴ [ЭР: ФМД]: URL: https://fedordostoevsky.ru/around/Maikov_A_N/

⁷⁵ Ее муж В.Д. Филосовов (1820–1894) был влиятельный сановник – Главный военный прокурор, член Государственного совета. Тем не менее: Ходили упорные слухи, что в доме Филосововых (разумеется, на её половине) скрывалась после освобождения из-под стражи Вера Засулич. Имя Анны Павловны упоминали в связи с побегом Кропоткина. В огромной казённой квартире главного военного прокурора хранилась нелегальная литература и, возможно, бывали такие гости, для которых хозяин, у которого доставало такта не интересоваться, кто именно посещает его жену, должен был требовать впоследствии смертных приговоров. Можно предположить, что кое-какие не подлежащие огласке подробности, связанные с деятельностью военных судов, через А.П. Филосовову доходили к Достоевскому. Явный итог этой деятельности был таков: шестнадцать смертных казней за один только 1879 год. Во всем XIX столетии не было больше такого «урожайного» года [ВОЛГИН (II). С. 24].

Я ему <Достоевскому> всё говорила, все тайны сердечные поверяла, и в самые трудные жизненные минуты он меня успокаивал и направлял на путь истинный. Я часто неприлично себя с ним вела! Кричала на него и спорила с неприличным жаром, а он, голубчик, терпеливо сносил мои выходки! Я тогда не переваривала романа «Бесы». Я говорила, что это прямо донос. Я вообще тогда была нетерпима, относилась с пренебрежением и запальчивостью к чужим мнениям и орала во всё горло.

<...>

Федор Михайлович ценил и любил Анну Павловну. Он часто бывал у нее, причем всегда заходил запросто <...>. На этот раз гостей у Анны Павловны было немного, и после обеда все гости, среди которых был и Достоевский, перешли в маленькую гостиную пить кофе <...>. Как вдруг кто-то из гостей поставил вопрос: какой, по вашему мнению, самый большой грех на земле? Одни сказали – отцеубийство, другие – убийство из-за корысти, третьи – измена любимого человека... Тогда Анна Павловна обратилась к Достоевскому, который молча, хмурый, сидел в углу. Услышав обращенный к нему вопрос, Достоевский помолчал, как будто сомневаясь, стоит ли ему говорить. Вдруг его лицо преобразилось, глаза засверкали, как угли, на которые попал ветер мехов, и он заговорил <...>.

Достоевский говорил быстро, волнуясь и сбиваясь... Самый ужасный, самый страшный грех – изнасиловать ребенка. Отнять жизнь – это ужасно, говорил Достоевский, но отнять веру в красоту любви еще более страшное преступление⁷⁶.

По воспоминаниям З.А. Трубецкой:

Когда Достоевский бывал в великосветских салонах, в том числе у Анны Павловны Филосовой, он всегда, если происходила какая-нибудь великосветская беседа, уединялся, садился где-нибудь в углу и погружался в свои мысли. Он как будто засыпал, хотя на самом деле слышал все, что говорили в салоне. Поэтому те, кто первый раз видел Достоевского на великосветских приемах, были очень удивлены, когда он, как будто спавший до этого, вдруг вскакивал и, страшно волнуясь, вмешивался в происходивший разговор или беседу и мог при этом прочесть целую лекцию [БЕЛОВ С.В. (II)].

Как один из символов конца XIX в. подробную в знаковых деталях зарисовку «Достоевский в великосветском салоне» Александр Блок включил в поэму «Возмездие» (1910–1921):

На вечерах у Анны Вревской
Был общества отборный цвет.
Больной и грустный Достоевский
Ходил сюда на склоне лет
Суровой жизни скрасить бремя,
Набраться сведений и сил
Для «Дневника». (Он в это время
С Победоносцевым дружил).
С простертой дланью вдохновенно
Полонский здесь читал стихи.
Какой-то экс-министр смиренно

⁷⁶ [ЭР: ФМД]: URL: https://fedordostoevsky.ru/around/Filosofova_A_P/

Здесь исповедывал грехи.
И ректор университета
Бывал ботаник здесь Бекетов,
И многие профессора,
И слуги кисти и пера,
И также – слуги царской власти,
И недруги ее отчасти,
Ну, словом, можно встретить здесь
Различных состояний смесь.
В салоне этом без утайки,
Под обаянием хозяйки,
Славянофил и либерал
Взаимно руку пожимал
(Как, впрочем, водится издавна
У нас, в России православной:
Всем, слава богу, руку жмут).

Впрочем, современники отмечали, что:

Бывали минуты, но очень редкие, когда на Фёдора Михайловича находило особенно весёлое настроение духа. Тогда нечто, какая-то... складка на его лице придавала его умной физиономии что-то вопросительное, что-то менее сосредоточенное, что-то, если можно так выразиться, среднее между игривым и шаловливым. Обыкновенно тогда он бывал остроумен и любил увлекаться комическими и самыми невероятно фантастическими образами и загадками из сферы, однако, действительной жизни⁷⁷.

В 1902 г. в журнале «Исторический вестник» (№ 2) писатель и публицист Леонид Оболенский рассказал о своих встречах с Достоевским в конце 1870-х гг.:

...На одном из <литературных> обедов мне пришлось увидеть, до какой крайней, болезненной нервности мог доходить Ф.М. Достоевский. Вот этот эпизод:

Николай Степанович Курочкин, брат бывшего редактора «Искры», Василия Степановича (в то время уже умершего), сидел за столом против Федора Михайловича и рассказывал двум-трем соседям, внимательно его слушавшим, свои любопытные наблюдения над жизнеспособностью очень талантливых людей (Николай Степанович был одновременно – и поэт, и врач). Между прочим, он привел в пример Салтыкова (Щедрина), которого исследовал, как врач, еще в то время, когда тот был совсем молодым человеком, и нашел у него такой порок сердца, от которого давно умер бы всякий «обыкновенный» смертный. Между тем, Салтыков живет и усиленно работает.

Вдруг Достоевский с криком и почти с пеной у рта набросился на Курочкина. Трудно даже было понять его мысль и причину гнева. Он кричал, что современные врачи и физиологи перепутали все понятия! Что сердце не есть комок мускулов, а важная духовно-нравственная сила и т. д. и т. д. Курочкин пытался возразить спокойно, что он говорил только о «сердце» в анатомическом смысле, но Достоевский не унимался. Тогда Курочкин пожал

⁷⁷ В.М. <Меицкерский В.П.> Воспоминания о Фёдоре Михайловиче Достоевском // Добро. 1881. № 2–3. С. 33.

плечами и замолчал; примолкли и все окружающие, с тревогой смотря на великого романиста, который, как известно, страдал падучей болезнью. Его раздражение могло кончиться припадком, а это было бы, конечно, весьма мучительно для обедавших.

Мало-помалу Достоевский стих и успокоился, а Курочкин не продолжал разговора.

<...>

<В другой раз на одном из таких же> обедов два молодых и горячих сотрудников «Недели» <...> стали упрекать Достоевского за то, что он печатает свои романы в «Русском вестнике» и этим содействует распространению журнала, направления которого, конечно, не может разделить. Достоевский стал горячо оправдываться тем, что ему нужно жить и кормить семью, а между тем журналы с более симпатичным направлением отказались его печатать. <...>

Таким образом, болезненная нервность нашего великого романиста может быть объясняема и не одной болезнью, а всеми теми нравственными пытками, каким ему приходилось подвергаться в то время <...>. А если прибавить к этому, что при его роковой болезни ему приходилось работать почти, как чернорабочему, да и тут встречать отказы в приеме работы, что ему приходилось страшно нуждаться, вечно занимать, вечно должать, – то покажется удивительным, как еще мог жить и работать этот великий, гениальный человек! Кто видел квартиру, в которой он жил с семьей перед смертью, эту бедную, жалкую квартиру, тот поймет все это еще больше⁷⁸.

Другой свидетель времени из круга ближайших друзей Достоевского пишет:

Кто его знает, он ведь очень добрый, истинно добрый, несмотря на всё своё ехидство, может дать волю дурному расположению духа своего, он и раскаивается потом и хочет наверстать любезностью⁷⁹.

Интересным документом, свидетельствующим о неоднозначном отношении к личности писателя в различных слоях российского общества при жизни Достоевского, являются воспоминания Екатерины Летковой-Султановой – активной общественницы с большими связями в литературно-артистических кругах, имевшей в демократической среде, особенно среди курсисток, репутацию «дамы-патронессы либерального толка»⁸⁰. Ниже мы приводим выдержки из них, касающиеся как портретных характеристик писателя, так описания различных по форме реакций со стороны поколения «семидесятников»:

И вдруг, в промежутке между стоявшими передо мной людьми, я увидела сероватое лицо, сероватую жидкую бороду, недоверчивый, запуганный взгляд и сжатые, точно от зябкости, плечи.

«Да ведь это Достоевский!» – чуть не крикнула я и стала пробираться поближе. Да! Достоевский!.. Но совсем не тот, которого я знала по портретам с гимназической скамьи и о котором на Высших курсах Герье у нас велись такие оживленные беседы. «Тот» представлялся мне большим, ярким, с пламенным взглядом, с дерзкими речами. А этот – съезжившийся, кроткий и точно виноватый. Я понимала, что передо мной Достоевский, и не верила, не верила,

⁷⁸ [ЭР: ФМД]: URL: https://fedordostoevsky.ru/around/Obolensky_L_E/

⁷⁹ Штакенин-нейдер Е.А. Дневник и записки. М.:Л.: Academia, 1934. С. 428.

⁸⁰ См. о ней в Аксакова Т.А. Дочь генеалога// Минувшее. Вып. 4, 1991. С.47.

что это он; он – не только великий писатель, но и великий страдалец, отбывший каторгу, наградившую его на всю жизнь страшной болезнью.

Но когда я вслушалась в то, что он рассказывал, я почувствовала сразу, что, конечно, это он, переживший ужасный день 22 декабря 1849 года, когда его с другими петрашевцами поставили на эшафот, на Семеновском плацу, для расстрела.

Оказалось, что Яков Петрович Полонский сам подвел Достоевского к окну, выходящему на плац, и спросил:

– Узнаете, Федор Михайлович?

Достоевский заволновался...

– Да!.. Да!.. Еще бы... Как не узнать?..

И он мало-помалу стал рассказывать про то утро, когда к нему, в каземат крепости, кто-то пришел, велел переодеться в свое платье и повез... Куда? Он не знал, как и не знали его товарищи... Все были так уверены, что смертный приговор хотя и состоялся, но был отменен царем, что мысль о казни не приходила в голову. Везли в закрытых каретах, с обледелыми окнами, неизвестно куда. И вдруг – плац, вот этот самый плац, под окном у которого сейчас стоял Достоевский.

Я не слышала начала рассказа Федора Михайловича, но дальше не проронила ни одного слова.

– Тут сразу все поняли... На эшафоте... Чей-то чужой, громкий голос: «Приговорены к смертной казни расстрелянием»... И какой-то гул кругом, неясный, жуткий гул... Тысячи красных пятен обмороженных человеческих лиц, тысячи пытливых живых глаз... И все волнуются, говорят... Волнуются о чем-то живом. А тут смерть... Не может этого быть! *Не может!..* Кому понадобилось так шутить с нами? Царю? Но он помиловал... Ведь это же хуже всякой казни... Особенно эти жадные глаза кругом... Столбы... Кого-то привязывают... И еще мороз... зуб на зуб не попадал... А внутри бунт!.. Мучительнейший бунт... Не может быть! Не может быть, чтобы я, среди этих тысяч живых, – через каких-нибудь пять-десять минут уже не существовал бы!.. Не укладывалось это в голове, и не в голове, а как-то во всем существе моем.

Он замолчал и вдруг совершенно изменился. Мне показалось, что он никого из нас не видел, не слышал перешептывания; он смотрел куда-то вдаль и точно переживал до мелочей все, что перенес в то страшное морозное утро.

– Не верил, не понимал, пока не увидел креста... Священник... Мы отказались исповедоваться, но крест поцеловали... Не могли же они шутить даже с крестом!.. Не могли играть такую трагикомедию... Это я совершенно ясно сознавал... Смерть неминуема. Только бы скорее... И вдруг напало полное равнодушие... Да, да, да!! Именно равнодушие. Не жаль жизни и никого не жаль... Все показалось ничтожным перед последней страшной минутой перехода куда-то... в неизвестное, в темноту... Я простился с Алексеем Николаевичем <Плещеевым>, еще с кем-то... Сосед указал мне на телегу, прикрытую рогожей. «Гробы!» – шепнул он мне... Помню, как привязывали к столбам еще двоих... И я, должно быть, уже спокойно смотрел на них... Помню какое-то тупое сознание неизбежности смерти... Именно тупое... И весть о приостановлении казни воспринялась тоже тупо... Не было радости, не было счастья возвращения к жизни... Кругом шумели, кричали... А мне было все равно, – я уже пережил самое страшное. Да, да!! Самое

страшное... Несчастный Григорьев сошел с ума... Как остальные уцелели? – Непонятно!.. И даже не простудились... Но..

Достоевский умолк. Яков Петрович подошел к нему и ласково сказал:

– Ну, все это было и прошло... А теперь пойдёте к хозяйшке... чайку попить.

– Прошло ли? – загадочно сказал Достоевский⁸¹.

Он стал точно восковой: желтовато-бледный, глаза ввалились, губы побелели и страдальчески улыгнулись. И мне ясно представился весь его крестный путь: эта пытка ожидания казни, замена ее каторгой, «Мертвый дом» со всеми его ужасами: никогда не снимаемыми кандалами (даже в бане), грязью и вонью камер, с самодурством надзирателей; и все вынес вот этот маленький человек, показавшийся мне вдруг таким большим среди всех нас, окружавших его.

И я забыла про различие направлений и политических идеалов, о которых так много говорилось у нас на Высших курсах среди молодежи, забыла о «Бесах», которых мы все ненавидели. Я признавала только то, что передо мной стоял *Достоевский*. Чувство невероятного счастья, того счастья, которое ощущается только в молодости, охватило меня. И мне захотелось броситься на колени и поклониться его страданию...

<...>

У него была какая-то особая «светская» манера подавать руку, внимательно-сдержанная учтивость и условность тона, какая всегда бывает, когда говоришь с малознакомым человеком. <...> В нем как-то сочетались два разных человека, и потому получались совершенно разные – я бы сказала – противоположные впечатления.

<...>

И вот что у меня записано в книжке 1879 года:

«Достоевский сказал: “Никогда не продавайте своего духа... Никогда не работайте из-под палки... Из-под аванса. Верьте мне... Я всю жизнь страдал от этого, всю жизнь писал торопясь... И сколько муки претерпел... Главное, не начинайте печатать вещь, не дописав ее до конца... До самого конца. Это хуже всего. Это не только самоубийство, но и убийство... Я пережил эти страдания много, много раз... Боишься не представить в срок... Боишься испортить... И наверное испортишь... Я просто доходил до отчаяния... И так почти каждый раз...”»

И.А. Гончаров <...> сказал вяло, равнодушно, как всегда, как бы не придавая значения своим словам:

– Молодежь льнет к нему... Считает пророком... А он презирает ее. В каждом студенте видит ненавистного ему социалиста. В каждой курсистке...

Гончаров не договорил. Хотел ли сказать какое-нибудь грубое слово, да вспомнил, что и я курсистка, и вовремя остановился, – не знаю.

<...>

Достоевский занимал слишком большое место в общественной и политической жизни того времени, чтобы молодежь так или иначе не отзывалась на его слова и приговоры. В студенческих кружках и собраниях

⁸¹ Когда я записала этот вечер у Полонских и, – всегда боясь «достоверных свидетельств», прочла Якову Петровичу, чтобы проверить, так ли передала я слова Достоевского, Яков Петрович добавил, что последняя фраза Федора Михайловича: «Прошло ли?» – намекает на его болезнь (падучая), развившуюся на каторге, но зародившуюся, как он предполагал, на эшафоте... (Примеч. Е.П. Летковой-Султановой.)

постоянно раздавалось имя Достоевского. Каждый номер «Дневника писателя» давал повод к необузданным спорам. Отношение к так называемому «еврейскому вопросу», отношение, бывшее для нас своего рода лакмусовой бумажкой на порядочность, – в «Дневнике писателя» было совершенно неприемлемо и недопустимо: «Жид, жидовщина, жидовское царство, жидовская идея, охватывающая весь мир...» Все эти слова взрывали молодежь, как искры пороха⁸². Достоевскому ставили в вину, что турецкую войну, жестокую и возмутительную, как все войны, он приветствовал с восторгом. «Мы необходимы и неминуемы и для всего восточного христианства, и для всей судьбы будущего православия на земле, для единения его... Россия – предводительница православия, покровительница и охранительница его... Царьград будет наш...»

Все эти слова принимались известной частью общества с энтузиазмом, – молодежь же отчаянно боролась с обаянием имени Достоевского, с негодованием приводила его проповедь «союза царя с народом своим», его оправдание войны и высокомерие... «если мы захотим, то нас не победят!!»

<...>

Вот непосредственное впечатление рядовой курсистки о том «событии», как называли речь Достоевского.

Конечно, это было событие, о котором говорили самые разные люди и которое вспоминают и до сих пор. По внешнему впечатлению кажется, ничто не может встать рядом с тем днем 8 июня 1880 года, когда в громадном зале бывшего Дворянского собрания, битком набитом интеллигентной публикой, раздался такой рев, что, казалось, стены здания рухнут. Все записавшие этот день сходятся на этом. Но, право, не все, далеко не все одинаково восприняли вдохновенно сказанные слова, прозвучавшие в этом зале с такой неслыханной до того времени художественной мощью. Речь была *так* сказана, что тот, кто сам не слышал ее, не сможет объяснить произведенного ею впечатления на большинство публики. Но была и другая часть, вероятно, меньшая, та левая молодежь, которая сразу встала на дыбы от почти первых же слов Достоевского. Отчасти этому содействовало, может быть, то, что Достоевский явился на Пушкинский праздник не как писатель Достоевский, один из славных потомков Пушкина, а как представитель Славянского благотворительного общества. Это, может быть, создало предвзятую точку зрения, так как – повторяю – молодежь в то время непрерывно вела счеты с Достоевским и относилась к нему с неугасаемо критическим отношением после его «патриотических» статей в «Дневнике писателя». О «Бесах» я уже и не говорю.

Понятно, что, когда Достоевский заговорил о «несчастном скитальце в родной земле», о бездомных скитальцах, которые «продолжают и до сих пор свое скитальчество», некоторые из нас переглянулись между собой. «И если они не ходят уже в наше время в цыганские таборы, – сказал он, –

⁸² В Пушкинском доме хранятся три письма к Достоевскому от некоего анонимного московского корреспондента-антисемита: в первом из них он одобряет тот факт, что в своей публицистике писатель, наконец-то, «взялся за жида», однако в третьем письме, как раз после выхода в свет мартовского выпуска «Дневника писателя» за 1877 г. с главой «Еврейский вопрос», выражает глубокое разочарование «примиренческой» позицией Достоевского в «еврейском вопросе». Более подробно об этом речь пойдет ниже, здесь же мы лишь солидаризуемся с мнением Леонида Гроссмана, полагавшего, что: «Двойственное и многообразное, как многие раздумья Достоевского, его отношение к еврейству нельзя исчерпать одной категорической формулой [ГРОССМАН-ЛП (III). С.32].»

искать у цыган своих мировых идеалов... то все равно ударяются *в социализм*, которого еще не было при Алеко, ходят с новой верой... что достигнут в своем *фантастическом делании* целей своих и счастья не только для себя самого, но и *всемирного*, ибо русскому скитальцу *необходимо именно всемирное счастье, чтобы успокоиться*: дешевле он не примирится!!»

Это было сказано с такой тончайшей иронией и вместе с тем с такой непреклонной верой в правоту своих убеждений, что многие, даже среди молодой публики, были настолько захвачены художественным пафосом Достоевского, что не могли сразу разобраться. Но для других – ни вдохновение, с каким говорил Достоевский, ни его растроганный голос, ни бледное, взволнованное лицо не заслонили содержания речи и ее громадного отрицательного значения.

Кроме насмешки над «русским скитальцем», его резкие выпады против западников, проповедь «смирненного» общения с народом и личного совершенствования в христианском духе, рядом с презрительным отношением к общественной нравственности, – определенно поставили Достоевского вместе с врагами того движения, которое владело в эту эпоху всеми симпатиями молодежи.

Только что перед этим «Московские ведомости» Каткова обличили Тургенева в помощи Бакунину. Достоевский же считался в этом вражеском катковском лагере «своим», принадлежащим к охранителям самодержавия, и все знали, что его «Дневник» читался в высших бюрократических кругах. Надо было отмежеваться от него, показать, что *мы* не на его стороне, и как поссорившиеся родители дерутся с детьми, так молодежь стала драться с Достоевским Тургеневым.

<...> Понятно, что при таком настроении речь Достоевского только подлила масла в огонь и обострила враждебное отношение к нему молодежи и прогрессивной части печати. Но разгорелось это не сразу. Нужно было известное время, чтобы, как говорил Глеб Иванович Успенский, «очухаться» от ворожбы Достоевского.

Сам Успенский, для которого социализм был тоже своего рода религией, написал непосредственно после речи Достоевского почти восторженное письмо в «Отечественные записки». Его заворожило то, что впервые публично раздались слова о страдающем скитальце (читай – социалисте), о всемирном, всеобщем, всечеловеческом счастье. И фраза «дешевле он не примирится» прозвучала для него так убедительно, что он не заметил ни иронии, ни дальнейшего призыва: «Смирись, гордый человек!» И только когда он прочел стенограмму речи Достоевского в «Московских ведомостях», он написал второе письмо в «Отечественные записки», уже совершенно в ином тоне. Он увидел в словах Достоевского «умысел другой». «Всецеловек» обратился в былинку, носимую ветром, просто в человека без почвы. Речь Татьяны – проповедь тупого, подневольного и грубого жертвоприношения; слова «всемирное счастье, тоска по нем» потонули в других словах, открывавших Успенскому суть речи Достоевского, а призыв: «Смирись, гордый человек» (в то время как смирение считалось почти преступлением), – зачеркнул все обаяние Достоевского. И это осталось так на всю жизнь. Недаром при первом свидании с В.Г. Короленко Успенский спросил его:

– Вы любите Достоевского?

И на ответ Владимира Галактионовича, что не любит, но перечитывает, Успенский сказал:

– А я не могу... Знаете ли... У меня особенное ощущение... Иногда едешь в поезде... И задремлешь... И вдруг чувствуешь, что господин, сидящий напротив тебя... тянется к тебе рукой... И прямо, прямо за горло хочет схватить... Или что-то сделать над тобой... И не можешь никак двинуться...

И вот это чувство власти Достоевского над ним, с одной стороны, и какая-то суеверная боязнь этого обаяния («И не можешь никак двинуться») остались у Глеба Ивановича на всю жизнь.

Вспоминаю одну из наших последних бесед с ним по поводу статьи Михайловского о Достоевском. Глеб Иванович уже заболел своей страшной болезнью, но это было почти незаметно. Он очень горячо говорил, вдруг замолчал и, точно поверяя мне какую-то тайну, прошептал:

– Знаете... он просто черт.

<...> Достоевский тогда кончал «Карамазовых», дошел до крайних высот своего творчества, а в «Дневнике» являлся настолько чуждым молодым его читателям, что они могли забыть всю его художественную мощь и с пеной у рта кричать о нем как о политическом враге.

Когда кто-то попытался напомнить товарищам о значении Достоевского как великого художника, с его скорбной любовью к человеку и великим состраданием к нему, это вызвало такие резкие споры и пламенные раздоры, что пришлось перевести разговор на страшные переживания Достоевского, на каторгу, перестраданную им.

Кто-то закричал:

– Это все зачеркнуто его же заявлением: Николай Первый должен был так поступить... Если бы не царь, то народ осудил бы петрашевцев!

– Забудьте публицистику... Великий художник... «Преступление и наказание»...

– А «Бесы»?.. Пасквиль на Тургенева!! А высмеивание Грановского?! А презрительное отношение к Герцену, к Кавелину!..

Это всё были наши боги, и, конечно, для Достоевского не нашлось слов оправдания.

Но если Достоевский не находил созвучного отклика среди известной части читателей, то, с другой стороны, никогда ни один русский писатель не имел такого успеха в так называемом «обществе», как Достоевский в этот последний год его жизни. Неославянофильское направление разливалось все шире и шире; боязнь террористических актов вызвала ненависть к учащейся молодежи, солидаризировавшейся с социалистами; вера в божественную миссию русского народа успокаивала сердца и наполняла их гордостью... Все это находило себе исход в поклонении Достоевскому, и его буквально раздирали на части: ему писали сотни писем, и он считал долгом отвечать; к нему с утра приходили люди, старые и молодые, искать у него ответа на мучившие их вопросы или высказать ему свое преклонение, и он принимал их, всех выслушивал, считал своим долгом не отталкивать никого. По вечерам он бывал на заседаниях самых разнообразных обществ, на журфиксах, на литературных вечерах. А рядом с этим у него шла напряженная работа: он объявил опять подписку на «Дневник» и готовил первый номер к январю 1881 года. Когда он мог работать и как вообще мог жить? Непонятно! К его постоянной болезни присоединилась эмфизема, и он страшно похудел.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.